
Ева Вересова
Жених на пробу,
или Кухарка для герцога

Ева Вересова

Жених на пробу, или Кухарка для герцога

«Автор»
2026

Вересова Е.

Жених на пробу, или Кухарка для герцога / Е. Вересова — «Автор», 2026

У меня дар, которого стыдятся: язык. Я пробую суп и знаю, что в нём лежит, кто его варил и с каким сердцем. Для кухарки это удобно. Для дочери женщины, которую шестнадцать лет назад осудили за отравление герцога Штальберга, это всё, что у меня осталось.А потом в наш трактир приехал его сын. Главный казначей Короны, самый ненавистный человек в королевстве. Его трижды пытались отравить, и он ест одну пустую овсянку на воде. Я лизнула его сахар и выбила чашку у него из рук.Теперь я должна пробовать всё, что он ест. За восемьдесят крон. А чтобы никто не догадался, зачем кухарка сидит за столом у герцога, Бруна объявила на всю площадь, что я взяла его в женихи. На пробу. По старому обычаю: сорок дней он ест только мою стряпню, первую ложку пробую я, а на сороковой день я подаю ему пересол.Он говорит мне «недосолено». Он колет нам дрова по формуле. Он не знает, чья я дочь.Я так думала.Самостоятельная история из цикла «Травницы Тихого Брода». Героев прежних книг вы тоже встретите.

© Вересова Е., 2026
© Автор, 2026

Ева Вересова
Жених на пробу, или Кухарка для герцога

Ева Вересова
Жених на пробу,
или Кухарка для герцога
Травницы Тихого Брода. Книга шестая

Аннотация

У меня дар, которого стыдятся: язык. Я пробую суп и знаю, что в нём лежит, кто его варил и с каким сердцем. Для кухарки это удобно. Для дочери женщины, которую шестнадцать лет назад осудили за отравление герцога Штальберга, это всё, что у меня осталось.

А потом в наш трактир приехал его сын. Главный казначей Короны, самый ненавистный человек в королевстве. Его трижды пытались отравить, и он ест одну пустую овсянку на воде. Я лизнула его сахар и выбила чашку у него из рук.

Теперь я должна пробовать всё, что он ест. За восемьдесят крон. А чтобы никто не догадался, зачем кухарка сидит за столом у герцога, Бруна объявила на всю площадь, что я взяла его в женихи. На пробу. По старому обычаю: сорок дней он ест только мою стряпню, первую ложку пробую я, а на сороковой день я подаю ему пересол.

Он говорит мне «недосолено». Он колет нам дрова по формуле. Он не знает, чья я дочь.

Я так думала.

Самостоятельная история из цикла «Травницы Тихого Брода». Героев прежних книг вы тоже встретите.

Часть первая. Недосол

Глава 1. В которой у меня недосол

Если вы меня поцелуете, я скажу, что вы ели на завтрак.

Пока никто не проверял. Но я знаю, что скажу, потому что то же самое выходит у меня с ложкой, с половником, с пальцем, которым человек вытер тарелку, и с краем кружки, из которой он пил. Мне достаточно лизнуть. Я назову вам всё, что лежит в супе, до последней щепоти, и в каком порядке это туда бросали, и что кухарка в это время думала про своего мужа.

Это называется дар. Так мне сказала тётя Клара, когда мне было девять и я плакала над чужой кашей, потому что каша была злая. «Это дар, Рута, — сказала тётя Клара. — Только ты про него молчи. Он кухонный».

У графа Холта, который сидит у нас в Северном отделении, от чужого вранья звенит в ушах, и про это пишут в столичных газетах. У Лотты, которая вышла за мельника, нос такой, что ей сам король платит жалованье. У Нелли Полыновой нос чуть похуже, зато она им гордится за двоих. Про нюх есть королевский экзамен. Про «зелёную руку» есть целая школа за рекой. Про язык нет ничего. Язык, знаете, это то, что показывают доктору Гроссе.

Меня зовут Рута Кмин. Мне двадцать пять лет, я кухарка в трактире «Хромой гусь», и в то утро, с которого всё началось, я стояла над котлом и выясняла, в кого влюбился Йорген-младший.

— Ни в кого, — сказал Йорген-младший.

Ему семнадцать. Он сын хозяина, мой подручный и единственный человек в Тихом Броде, который краснеет затылком. Я поручила ему бульон. Бульон, это такая вещь, которую нельзя испортить, если у тебя есть курица, вода и терпение. Он положил всё, что надо: курицу, луковицу в шелухе, морковь, корень петрушки, шесть горошин перца. Я это знала, не загля-

дывая. И вот поверх курицы, моркови и шести горошин стояло такое, от чего у меня свело скулы. Кисло. Сладко. И ещё раз кисло, как недозрелая слива, которую сорвали, потому что не было сил дождаться.

— Мешал левой рукой, — сказала я. — Правой держался за подоконник и смотрел во двор. Во дворе у нас в это время кто? Во дворе у нас в это время дочка молочника сгружает бидоны. Ей шестнадцать, у неё вот такая коса, и на тебя она не смотрит, потому что смотрит на кузнецова подмастерья.

Затылок у Йоргена-младшего стал цвета варёной свёклы.

— Это в бульоне написано?

— В бульоне написано, что ты страдаешь. Остальное я видела в окно. Вылей.

— Целый котёл?

— Половину вылей свиньям, им всё равно, кого ты любишь. Во вторую половину положи ещё луковицу и стой к окну спиной. Я не могу подавать людям бульон, от которого хочется писать стихи. У нас приличное заведение.

Он понёс котёл к двери, и я услышала со двора то, что слышу каждое утро уже лет восемь: сначала шлёпанье, неровное, раз и два с половиной, а потом шипение, от которого у приезжих поднимаются волосы под шляпой.

— Казначей! — заорал Йорген-младший. — Уйди! Уйди, зараза, это не тебе!

Тут надо объяснить про гуся.

Трактир называется «Хромой гусь» дольше, чем живёт любой гусь, и хозяева держат марку: при заведении всегда есть гусь, и он всегда хромой. Старый Йорген говорит, что они такими рождаются от судьбы. Тётя Клара говорит, что старый Йорген каждый раз покупает на ярмарке самого завалящего, за полцены. Нынешний достался нам восемь лет назад. Он хромал уже тогда, а глаз потерял позже, в драке с соседским котом, причём кот после этого месяц не выходил из дому. Гусь этот жаден, как сборщик податей. Он считает всё, что вносят во двор и выносят со двора, и за каждое ведро требует свою долю. Он шипит на постояльцев, на лошадей, на стражу и на бургомистра. Поэтому, когда пришло время дать ему имя, никто в трактире не спорил. Кого в Аверни не любят сильнее всех? Кто лезет в каждый кошелёк? Кого никто из нас в глаза не видел, а ругают его в каждом доме?

Главного королевского казначея.

Вот гуся и назвали Казначеем. Запомните это, пожалуйста. Мне потом будет за это очень стыдно, а стыдиться я не люблю и хочу, чтобы вы хотя бы знали, что я не нарочно.

* * *

Кухня в «Гусе» большая, низкая и моя.

То есть по бумагам она Йоргенова, как и весь трактир, и вывеска, и гусь. Но старый Йорген заходит сюда, пригнув голову, и спрашивает разрешения взять огурец. Здесь очаг, в который можно поставить телёнка, плита на шесть конфорок, которую Торвальд-кузнец сложил нам пять лет назад и до сих пор приходит на неё любоваться, длинный стол, изрезанный ножами ещё до моего рождения, и полки до потолка. На полках у меня всё стоит так, как я хочу. Перец к перцу, тмин отдельно, сушёные грибы на нитках, мёд в трёх горшках: липовый, гречишный и тот, который пасечник называет цветочным, а на самом деле пчёлы у него летают на клевер бургомистра.

И соль.

Соль у меня стоит в самом углу, на нижней полке, в сером горшке с крышкой, и я открываю его реже, чем следовало бы.

Про это в Тихом Броде знают все. «У Руты недосол», говорят у нас, и это не ругательство, а вроде приметы погоды. На каждом столе в зале стоит солонка, и каждый гость, получив миску, сперва солит, а потом уже берётся за ложку. Проезжие удивляются. Свои привыкли. Старый Йорген сперва ворчал, а потом придумал отвечать: «Недосол на столе, пересол на спине. Радуй-

тесь, что у нас стол». Тётя Клара молчит. Она знает почему. Кроме неё и Йоргена, никто не знает, и вам я пока тоже не скажу.

Скажу только, что щи у меня в то утро были хороши. Я это не сама решила, я про свою стряпню ничего решить не могу, и это отдельная обида. Чужую ложку я читаю, как писарь читает указ, а своя для меня пустая. Суп и суп. Я знаю, что в нём лежит, потому что сама клала. А какая там рука, какое сердце, чем оно отдаёт для того, кто ест, мне не слышно. Это как собственный голос: все говорят, что он у тебя есть, а какой он, знают только другие.

Другие говорят, что вкусно. Только мало соли.

Я как раз сняла пену, когда дверь с улицы ударилась о стену и в кухню вбежал бургомистр Пим.

Он вбежал, это надо понимать правильно. Олдрику Пиму под семьдесят, он круглый, осторожный и за всю жизнь не сделал ни одного резкого движения, кроме того раза, когда в ратушу залетела оса. Сейчас он был без шляпы. Цепь бургомистра съехала ему на плечо. В руке он держал бумагу с королевской печатью, причём держал так, как держат за хвост дохлую мышь.

— Йоргена! — сказал он. — Клару! Всех! Рута, детка, у тебя есть утка?

— У меня четыре утки.

— Мало. Нужно восемь. Нужно двенадцать! Гуся! — Он оглянулся на дверь во двор, откуда шипело. — Нет, не этого. Другого. Приличного. Рута, к нам едут!

— Кто?

Пим посмотрел в бумагу. Потом на меня. Потом сел на табурет, на котором у меня обычно сидит мешок с луком, и мешок он при этом не убрал.

— Ревизия, — сказал он шёпотом.

Я вам сейчас объясню, что такое это слово для нашего бургомистра. Олдрик Пим тридцать с лишним лет ведёт городские книги. Он любит книги, печати, сургуч, шнурки, описи и ведомости. Он подшивает всё. Но за эти тридцать лет в его книги ни разу не заглянул ни один посторонний человек, и теперь он боялся, как боится хозяйка, к которой нагрянула свекровь, а у неё под кроватью не метено с Урожайника.

— Из округа? — спросила я.

— Из Сольмара.

— Чиновник?

— Сам.

— Кто сам?

Пим открыл рот и закрыл. Во дворе Казначей заорал на молочника.

— Вот он, — сказал Пим и показал большим пальцем через плечо, на двор. — Только настоящий.

* * *

К полудню об этом знал весь Тихий Брод, и это ещё медленно, потому что Бруна с утра ездила на мельницу.

Главный казначей Короны. Сам. К нам. Говорили, что он едет на север проверять счета всего округа, а начнёт с нас, потому что мы ближе к дороге. Говорили, что у него в карете сундук, куда складывают бургомистров. Вдова Мартенс слышала от почтаря, что в Нижних Ключах он за один день нашёл недостачу в четыре кроны и городской писарь от этого поседел. Торвальд-кузнец сказал, что ему скрывать нечего, и пошёл перевешивать гири. Мэтр Гроссе закрыл аптеку на учёт. Капитан Гуннар построил стражу на площади и велел всем постричься.

А я готовила.

Потому что кто бы он ни был и сколько бы писарей от него ни поседело, остановится он у нас. Больше негде. «Хромой гусь» единственный трактир в городе, где есть комнаты с окнами на площадь и простыни без заплат. А человек с дороги хочет есть. Это я знаю твёрдо, на этом

стоит моя жизнь: злой он или добрый, казначей или конокрад, после шести часов в карете он хочет горячего.

Пим выпросил для города парадный обед. Сказал: за счёт ратуши. Я посмотрела на него. Он сказал: за счёт ратуши потом, а пока в долг. Старый Йорген вздохнул и пошёл в погреб.

Я вам не стану перечислять всё, что я в тот день сделала, вы проголодаетесь, а до ужина ещё далеко. Скажу про главное. Были утки, шесть штук, потому что две Бруна привезла от мельника: с мочёными яблоками, с тмином и с можжевеловой ягодой, по три на противень, и я поливала их каждые четверть часа. Был раковый суп, потому что раков мне натаскали мальчишки с Ивы по грошу за дюжину. Были пироги с капустой и яйцом и один большой, закрытый, с рыбой. Бруна прислала свой хлеб, тот, с хрустящей коркой, за которым к ней ездят из Нижних Ключей, и к хлебу приложила записку: «Посоли, Мать-Земля тебя вразуми, хоть раз в жизни посоли как человек, перед столицей стыдно».

Я посолила. Как умею.

Йорген-младший бегал за мной с полотенцем и больше не глядел во двор. Тётя Клара перетирала кружки и один раз, проходя мимо, тронула меня за локоть. Она редко трогает людей. Я обернулась, но она уже отошла.

Тогда я не поняла, что это было. Она-то уже знала, как его зовут. Пим показал ей бумагу. А мне никто не сказал, потому что я была занята утками, и ещё потому, я думаю, что тётя Клара всю жизнь надеется, что беда пройдёт мимо, если не называть её по имени.

* * *

Карета въехала на площадь в шестом часу.

Мы стояли на крыльце: старый Йорген в чистом фартуке, тётя Клара, Йорген-младший с затылком наготове и я, в свежей косынке и с половником, потому что не успела положить. Рядом переминался Пим в цепи. За ним выстроилась стриженая стража. Из пекарни напротив глядела Бруна и делала вид, что протирает окно. Из-за Бруны глядело ещё человек пятнадцать, и никто из них не делал никакого вида.

Карета оказалась чёрная. Без гербов, без золота, без перьев на лошадях. Простая дорожная карета, только рессоры хорошие и колёса в глине до ступиц. За ней ехала вторая, поменьше, с сундуками. Сундуки были обыкновенные. Я видела, как Пим их пересчитал и как у него дрогнула цепь.

С козел слез кучер. Из второй кареты выбрался старик в ливрее, сухой, с прямой спиной, и прижимал он к груди не шкатулку и не ларец, а что-то медное, круглое, завёрнутое в полотенце. Потом из первой кареты выскочил человек, и площадь выдохнула, потому что человек этот был нестрашный.

Лет тридцати пяти. Круглолицый, румяный с дороги, в хорошем сером сюртуке, с папкой под мышкой. Он улыбнулся всем сразу, и нам, и страже, и Брунину окну, так что ему захотелось улыбнуться в ответ. Потом до него дошёл утиный дух из двери. Это было видно: он закрыл глаза и потянул носом.

— Мать-Земля, — сказал он. — Тмин? Скажите мне, что это тмин и что я доживу до ужина.

— Доживёте, — сказала я. Мне он сразу понравился. Я люблю людей, которые хотят есть.

Пим шагнул вперёд и начал кланяться. Румяный замахал на него папкой.

— Нет, нет, сударь, не мне! Я секретарь. Вирт, Ансгар Вирт, к вашим услугам. Его светлость сейчас выйдет. Он считает.

— Что считает? — спросил Пим слабым голосом.

— Вёрсты, — сказал секретарь Вирт и вздохнул так, как вздыхают о любимом, но трудном родственнике. — Почтовые прогоны нам выставили за сорок две версты от Нижних Ключей. Его светлость всю дорогу считал обороты колеса. У него вышло тридцать девять с половиной.

Дверца кареты открылась.

Сперва показалась нога в сером чулке и чёрном башмаке без пряжки. Потом рука, длинная, с длинными пальцами, взялась за край дверцы. Потом он вышел весь и выпрямился, и выпрямлялся он долго.

Я не знаю, кого я ждала. Наверное, кого-то вроде барона с ярмарочной вывески: брюхо, щёки, перстни, бархат. Человека, который ест за счёт королевства. А вышел худой и длинный, как жердь для хмеля, застёгнутый на все пуговицы до самого подбородка. Волосы у него были цвета золы и гладко зачёсаны назад. Лицо узкое, нос длинный, глаза серые и такие светлые, что издали показались мне пустыми. Он был не старый. Он был из тех, кого ненавидят с детства, и они успевают к этому привыкнуть.

Он оглядел площадь. Не людей: он посмотрел на мостовую, на водосток, на ратушные часы, которые у нас отстают на семь минут, и я увидела, что он это заметил. Потом он посмотрел на нашу вывеску. С вывески на него глядел нарисованный гусь.

Из-за угла вышел настоящий.

Казначей шёл через площадь своим ходом, раз и два с половиной, и нёс голову низко, как носит перед дракой. Он дошёл до кареты, встал перед приезжим и вытянул шею. Одним глазом он осмотрел башмаки, чулки и полу сюртука. Мы ждали. Старый Йорген закрыл глаза.

Гусь не зашипел. Он постоял, подумал и сел приезжему на башмак.

— Это ваш? — спросил приезжий. Голос у него был ровный и негромкий. Таким голосом читают вслух столбцы.

— Наш, ваша светлость, — сказал старый Йорген. — Он, изволите видеть, хромой. По вывеске.

— Как его зовут?

Стало тихо. Слышно было, как у Бруны в пекарне упала лопата.

— Гусь, — сказал старый Йорген. — Просто гусь, ваша светлость.

Приезжий кивнул. Ногу из-под гуся он не вынул.

Тут Пим наконец вспомнил, что он бургомистр, вышел вперёд, развернул бумагу с печатью и прочёл по ней, запинаясь, громко, на всю площадь, чтобы слышали и стража, и Бруна, и я:

— Город Тихий Брод… с глубочайшим… имеет честь приветствовать… главного казначея Короны, члена Королевского совета… его светлость Северина, герцога Штальберга.

Половник я уронила.

Он упал на каменное крыльцо, подпрыгнул и зазвенел, и звенел долго, потому что он у меня медный, хороший. Все на меня посмотрели. Тётя Клара взяла меня за локоть, второй раз за день, и теперь я поняла, что это было утром.

Герцог Штальберг тоже посмотрел на меня. Недолго. Сверху вниз, потому что я ему по плечо, и то в башмаках. Глаза у него вблизи оказались не пустые. Они были усталые. Он посмотрел на мою косынку, на половник у моих ног, на мои руки, и мне на одну секунду показалось, что он сейчас что-то скажет. Что-то не про обед.

Я, конечно, ошиблась. Мало ли что покажется человеку, у которого в ушах ещё звенит половник, а в печи шесть уток.

— Добрый вечер, — сказал он. — Мне нужна комната с окном на восток, стол для письма и кипяток. Два кувшина, утром и вечером.

— А ужинать? — спросил старый Йорген. — Ваша светлость, у нас утки. У нас раковый суп. Город, так сказать, от всего сердца…

— Благодарю. Я не ужинаю.

Он наклонился, двумя руками, осторожно, как снимают со стола чернильницу, снял гуся со своего башмака и поставил на мостовую. И прошёл мимо меня в дверь.

От него ничем не пахло. Ни вином, ни табаком, ни дорожной колбасой. Только чернилами и немного холодной водой.

Я подняла половник.

Шесть уток, знаете ли. С мочёными яблоками. Я поливала их каждые четверть часа.

Глава 2.
В которой я выбиваю чашку у казначея

Уток съел город.

Не пропадать же. Пим сел во главе стола, по правую руку посадил секретаря Вирта, по левую капитана Гуннара, и они ужинали за здоровье его светлости, который в это время сидел наверху при свече и, как доложил Йорген-младший, писал. Секретарь Вирт ел за двоих. Он съел тарелку ракового супа и попросил вторую. Он взял утиную ногу, закрыл глаза и сказал: «Сударыня, выходите за меня», а потом открыл глаза, увидел, что рядом стоит тётя Клара с кувшином, и извинился перед ней так смешно, что тётя Клара улыбнулась. Тётя Клара улыбается два раза в год.

Мне он передал на кухню поклон и пустую тарелку. Тарелка была вытерта хлебом дочиста. Для кухарки нет письма понятней. С такими людьми легко.

А потом на кухню пришёл старик.

Тот самый, в ливрее, с прямой спиной. Он вошёл, не постучав, оглядел мой очаг, мою плиту и мои полки с таким лицом, какое бывает у старых полковых лошадей при виде новобранцев, и сказал очень громко:

— Бартоломей. Камердинер его светлости. Мне нужен кипяток. Говорите мне в правое ухо, левое у меня не служит с осады Каменца.

Я дала ему кипяток. Он развернул своё полотенце, и я наконец увидела, что он нёс у сердца через всю площадь. Это была спиртовка. Медная, дорожная, с кастрюлькой на полторы кружки, начищенная так, что в неё можно было бриться. Он поставил её на мой стол. На мой стол, изрезанный ещё до моего рождения, рядом с противнем, на котором остывала последняя утка. Достал из кармана холщовый мешочек, отмерил из него три ложки серой крупы, залил кипятком и зажёг фитиль.

— Это что? — спросила я.

— Что? — сказал Бартоломей и подставил правое ухо.

— Это что такое?!

— Ужин его светлости, — сказал Бартоломей. — Овсянка. На воде. Без соли, без масла, без сахара, семь минут, не мешать. — Он посмотрел на утку. Потом на меня. Глаза у него были старые, выцветшие и несчастные. — Четырнадцать лет, сударыня. При старом герцоге у нас был повар из Альвиза, и к столу подавали шесть перемен. А я четырнадцать лет варю вот это. Я вас умоляю, не смотрите на меня так. Я сам на себя так смотрю.

Я вам скажу, что я почувствовала. Вы, может быть, не кухарка и не поймёте. Но представьте, что вы портной, вы шили всю ночь, а заказчик пришёл на примерку в мешке из-под картошки и сказал, что ему и так хорошо.

— Он больной? — спросила я.

— Он здоровый, — сказал Бартоломей с горечью. — У него ничего не болит. Он просто так ест.

Крупа в кастрюльке булькнула. От неё пахло мокрой бумагой.

Я подождала, пока старик отвернётся за ложкой, и сунула в кастрюльку мизинец. Вы бы тоже сунули. Мне надо было знать.

Там не было ничего.

То есть крупа была, и вода была, колодезная, наша. Но когда еду готовит человек, в ней всегда что-нибудь стоит, хоть скука, хоть спешка, хоть мысль о долгах. А эту крупу отмеряли так, как отмеряют порох. В ней не было ни злости, ни радости, ни голода. Старик варил её, как носят воду в решете: потому что велено. Я за всю жизнь не пробовала ничего более пустого.

— Пересолить бы ему, — сказала я. — Один раз. Чтобы проснулся.

— Что? — сказал Бартоломей.

— Доброй ночи, говорю!

* * *

Теперь про имя.

Вы уже поняли, что половники я роняю нечасто. И вы, наверное, ждёте, что я сейчас расскажу всё по порядку. Я расскажу. Только не всё сразу, я так не умею. Я шестнадцать лет об этом молчала, оно у меня слежалось, как мука в сыром ларе, и выходит комками.

Я родилась не в Тихом Броде. Я родилась в Сольмаре, в большом сером доме на Соборной площади, в комнате за кухней. Моя мать была там кухаркой. Не поваром: повар был господин из Альвиза, с усами, он готовил для парадных обедов и пил. А мать варила на каждый день, на господ и на людей, пекла хлеб, солила, мариновала и вела кладовую. Отца я не помню, он был возчик и умер от горячки, когда я ещё сидела под столом. Я выросла под этим столом. Я знала в том доме каждую кастрюлю.

Дом принадлежал герцогу Штальбергу.

Когда мне было девять, в ноябре, старый герцог выпил на ночь чашу горячего мёда с пряностями, лёг и к утру умер. В чаше нашли яд. Мёд варила и чашу несла моя мать.

Был суд. Меня туда не пустили, но я знаю, что там было, потому что потом об этом кричали газетчики на всех углах. Говорили, что кухарка была обижена на хозяина. Говорили про какие-то деньги. А главное показание дал сын покойного, молодой герцог, восемнадцати лет. Он сказал под присягой, что в тот вечер видел на лестнице, как кухарка сама несла чашу наверх, хотя это дело лакея, и никого к ней не подпускала.

Мать не повесили. Старый герцог был членом Королевского совета, и король, говорят, сказал, что в его царствование женщин не вешают. Её отправили в Зальцгруд, в королевские соляные копи, бессрочно.

А меня забрала тётя Клара. Она матери двоюродная сестра, она тогда уже лет десять была замужем за Йоргеном и жила на севере. Она приехала за мной на почтовых, молча собрала мой узел и по дороге, где-то за Каменцем, сказала:

— Тиль, это была фамилия твоего отца. Он умер, ему она больше не нужна. Ты теперь Кмин, как мы с Ханной в девушках. Ты моя племянница, сирота, из Нижних Ключей. Про Сольмар забудь.

Я не забыла. Но я Кмин. В Тихом Броде про меня знают, что я сирота, что у меня недосол и тяжёлая рука на половник. Больше не знают ничего, и за шестнадцать лет ни один человек не спросил.

Вот поэтому, когда Пим на всю площадь прочёл по бумаге это имя, у меня из руки выпал половник. А вы бы удержали?

Ночью тётя Клара пришла ко мне за кухню. Я сплю в комнате за кухней, как в детстве, только кухня другая. Она села на край постели, сложила руки на коленях и долго молчала.

— Он тебя не знает, — сказала она наконец. — Он тебя в глаза не видел. Ты была дитя под столом, а он был молодой господин и на кухню не ходил. Ты Кмин. Он приехал считать Пима, посчитает и уедет. Неделя, много две.

— Я знаю.

— Наверх не ходи. Пусть младший носит.

— Не пойду.

— И ничего ему не говори. — Она помолчала. — И в еду ему ничего не клади.

— Тётя!

— Я должна была сказать, — сказала тётя Клара. — Я знаю, что ты не станешь. Ханна тоже не стала бы. Я это и судье тогда писала, только кто читает, что пишет трактирщица.

Она ушла. Я лежала и глядела в потолок. Потолок у меня тонкий, а над ним как раз лучшая комната. Он в ней ходил. Я слышала: шесть шагов к окну, шесть обратно. Долго. Я успела досчитать до двухсот и сбилась.

Положить я ему ничего не собиралась. Я вам больше скажу: мне и класть было бы некуда. Он же не ел.

* * *

Утром Йорген-младший обварил руку.

Ничего страшного, он схватил чайник не за ту ручку. Я намазала ему ладонь гусиным жиром, завязала тряпицей и посмотрела на два кувшина с кипятком, которые стояли на плите и ждали. Тётя Клара была в погребе. Старый Йорген считал вчерашний убыток. В зале завтракал секретарь Вирт и рассказывал Бруне, которая зашла будто бы за солью, как в столице пекут булки с шафраном, и Бруна смеялась на всю площадь.

Я сказала вам, что обещала не ходить наверх. Я и не хотела. Я только подумала: остынет. Кипяток, который остыл, уже не кипяток, а человек за него платит.

А если честно, то я хотела посмотреть.

Мне шестнадцать лет говорили «молодой герцог показал». Я шестнадцать лет представляла себе этого молодого герцога, и у меня он каждый год был другой: то толстый, то красивый, то с хлыстом. Я хотела один раз посмотреть, как выглядит вблизи человек, после слов которого твою мать увозят в закрытой повозке. Как он сидит. Как держит ложку. Мне казалось, я что-нибудь пойму.

Я взяла кувшины и пошла.

В лучшей комнате было холодно, потому что он открыл окно. Стол он велел передвинуть к свету. На столе лежали бумаги стопками, и каждая стопка была придавлена своим камешком, обыкновенной речной галькой: серой, белой, рыжей. Стояла чернильница, лежали перья, очиненные одинаково, и стоял письменный прибор с песочницей, из которой он только что присыпал исписанный лист. Сам он сидел спиной к двери, очень прямо, в жилете и рубашке, рукава застёгнуты на запястьях. Он писал. Не обернулся.

Под столом, у его ноги, лежал Казначей.

Я чуть не выронила кувшин. Гусь наш в дом не ходит, его не пускают дальше сеней, и за восемь лет он ни разу не поднялся по лестнице, потому что с его ногой это труд. А тут он лежал на половике, подобрав хромую лапу, и глядел на меня одним глазом с таким выражением, будто это я к нему пришла без спросу.

— Он явился в шесть утра, — сказал герцог, не поворачивая головы. — Я дважды выносил его в коридор. Он возвращается. У него есть на это какие-то основания?

— Он жадный, ваша светлость, — сказала я. — Он ходит за теми, у кого есть что взять.

— У меня овёс.

— Овёс он тоже берёт.

Перо остановилось. Потом пошло дальше.

У окна, на подоконнике, Бартоломей колдовал над своей спиртовкой. Овсянка уже отбулькала семь минут. Он переложил её, серую и гладкую, как штукатурка, в белую миску и поставил на поднос. Рядом поставил чашку. Чай он заварил из своей жестянки, слабый, цвета соломы. И открыл дорожный ящичек, обитый изнутри сукном, а из ящичка вынул сахарницу.

Я на неё засмотрелась. Она была серебряная, старая, с крышкой в виде луковицы, и на боку у неё был герб: три соляных кристалла и молоток. Я этот герб помню. Он был у нас в доме на всём, даже на вёдрах.

— Его светлость допускает одну ложку сахара в утренний чай, — сказал мне Бартоломей громко, как глухие говорят с глухими. Ему, видно, хотелось хоть чем-нибудь похвалиться перед кухаркой. — Одну. По воскресеньям полторы.

Он зачерпнул, понёс ложечку к чашке, и рука у него дрогнула. Ему семьдесят лет, он всю ночь не спал на новом месте. Немного сахару просыпалось на поднос, белой дорожкой, рядом с моим кувшином.

Вот тут послушайте меня внимательно, потому что потом меня об этом спрашивали все, от графа Холта до королевской комиссии, и никто не мог взять в толк.

Я не подозревала. Мне ничего не почудилось, у меня не ёкнуло сердце, и никакой дар мне ничего не шепнул. Я просто кухарка. Если перед кухаркой что-нибудь просыпали, она прижимает палец и несёт в рот. Мука это, соль, сахар или тёртый мел, мне надо знать. Я так делаю двадцать лет. Меня за это в детстве били по рукам, и не отучили.

И ещё мне было любопытно, каким сахаром сластит свой чай самый богатый скряга в Авернии.

Я прижала палец к подносу и лизнула.

Сахар. Хороший, белый, тростниковый, из тех, что возят морем. Дорогой. Под ним ничего: его никто не варил, не мешал, в нём не бывает руки, сахар он и есть сахар. Я уже взялась за кувшин.

А потом, на самом корне языка, там, где глотают, стало сладко во второй раз.

Не так, как от сахара. Холодно. Вы лизали зимой железные перила? Не лижите. Но если лизали, то вот так, только перила эти сладкие. Сладость стояла и не уходила, и от неё язык делался чужим, толстым, как после зубодёра.

Я это уже пробовала. Один раз в жизни. Мне было девять лет, я стояла на табуретке у кухонного стола в сером доме на Соборной площади, была ночь, и я тянулась пальцем к серебряной чаше, которую только что вымыли не до конца.

Герцог отложил перо. Он взял чашку не глядя, как берут люди, которые четырнадцать лет пьют одно и то же в один и тот же час, и поднёс к губам.

Я его ударила.

По руке, снизу, как выбивают нож. Кувшин я при этом бросила, и он разбился. Чашка вылетела, ударилась о стену над кроватью, чай плеснул на обои, на подушку и на верхний лист в ближней стопке. Бартоломей закричал тонким голосом. Гусь под столом заорал басом и захлопал крыльями. По полу растекался кипяток, от него шёл пар, и в этом пару герцог Штальберг медленно повернулся ко мне на стуле.

Он не вскочил. Он даже руку не отдёрнул, она так и осталась в воздухе, с согнутыми пальцами. На манжете у него расплывалось жёлтое пятно. Он посмотрел на пятно, потом на стену, потом на меня.

— Не пейте, — сказала я. Вышло невнятно, язык не слушался. — Это не сахар. То есть сахар. В нём ещё одно.

— Девка рехнулась! — кричал Бартоломей. — Ваша светлость! Обварила! Я позову стражу!

— Бартоломей, — сказал герцог. — Помолчите.

Старик замолчал, как свечу задули.

По лестнице уже топали. Дверь распахнулась, и влетел секретарь Вирт с салфеткой за воротом. За ним лезли старый Йорген, Бруна и чья-то стриженая голова из стражи.

— Северин! — Секретарь увидел лужу, осколки и пятно на стене. Румянец с него сошёл разом, как сходит пена с молока. — Опять? Ты пил? Скажи мне, ты пил?!

— Нет.

— Слава Матери-Земле. — Вирт шагнул вперёд, поскользнулся на мокром и ухватился за спинку стула. И тут Казначей вылез из-под стола, вытянул шею и молча, со знанием дела, ущипнул его за икру.

Секретарь взвыл. Бруна сказала: «Ах ты разбойник одноглазый!» Старый Йорген схватил гуся поперёк живота и поволок к двери, приговаривая, что он всех так, ваша милость, он бургомистра на той неделе, он не со зла, он от характера.

Герцог на них не смотрел. Он смотрел на меня. Он встал, и снова это заняло много времени, взял с подноса сахарницу и заглянул в неё. Понюхал. Закрыл крышкой-луковицей и поставил обратно, ровно на то место, где она стояла.

— Вы взяли крупинки с подноса, — сказал он. — Щепоть, меньше грана. Я видел в оконном стекле. Вы положили их в рот, подождали примерно три секунды и ударили меня по руке. Что вы почувствовали?

— Сладко. Холодно. Потом язык немеет.

— Чем это пахнет?

— Ничем. Оно не пахнет.

— Как это называется?

Я знала, как это называется. Мать назвала мне это слово один раз, шёпотом, в ту ночь, когда она застала меня с пальцем во рту над немытой чашей, схватила в охапку и стала поить огуречным рассолом из бочки, кружку за кружкой, пока меня не вывернуло.

— Вдовий сахар, — сказала я.

Секретарь Вирт сел на кровать, прямо на мокрую подушку. Бруна перестала дышать. Бартоломей не расслышал и переспрашивал у стражника.

Герцог помолчал. У него было лицо человека, который складывает в уме длинный столбец и уже видит, что внизу не сойдётся.

— Откуда кухарка из северного трактира знает на вкус яд, которого нет ни в одной аптечной книге? — спросил он.

Вот и всё, подумала я. Сейчас я скажу, и он вспомнит. Дитя под столом. Чёрная коса. У матери была точно такая.

— Пробовала, — сказала я.

— Когда?

— Только что. Вы же видели в стекле.

Он не ответил. Он глядел на меня ещё одно мгновение, усталыми своими глазами, и я так и не поняла, поверил он или нет. Потом он повернулся к двери.

— Бартоломей. Пошлите за графом Холтом, он должен быть в городе. Ансгар, встань с подушки и никого не выпускай из трактира. Ящик с сахарницей не трогать. — И мне, не меняя голоса: — А вы сядьте. На мой стул, он сухой. Вы сейчас упадёте.

Я хотела сказать, что кухарки не падают. Что у меня внизу тесто подходит и младший с обваренной рукой. Что я у Штальбергов на стульях не сижу.

И не сказала ничего. Потому что открыла рот и поняла, что не чувствую языка.

Совсем. Как будто его нет.

Глава 3.
В которой меня нанимают умереть за восемьдесят крон

Язык вернулся через час.

Этот час я вам описывать не буду. Скажу только, что я сидела на кухне, на мешке с луком, и держала во рту хлебную корку, и корка была как тряпка. Потом я взяла на язык перец. Потом уксус. Потом, вы уж простите, ложку горчицы. Тётя Клара стояла надо мной с белым лицом и молчала, а Йорген-младший плакал у плиты, потому что решил, что я умираю, а щи на нём.

Я не умирала. Я думала о том, что кухарка без языка, это как звонарь без рук. Его, конечно, не выгонят. Его посадят на паперти.

Прибежал мэтр Гроссе, в домашних туфлях, с саквояжем. Ему за семьдесят, он лечит весь Тихий Брод от всего одной и той же микстурой и кричит на больных, чтобы не раскисали. Он взял меня за подбородок.

— Покажи язык.

Я показала. Я же вам говорила, для чего в нашем городе язык.

— Язык как язык, — сказал мэтр Гроссе. — Розовый. Что ты ела?

— Сахар.

— Сахар вреден, — сказал мэтр Гроссе и стал рыться в саквояже.

Микстуру его я пить не стала. Я вдруг вспомнила мамины руки, мокрые, в укропе, и как она черпала из бочки. Слезла с мешка, пошла в погреб и выпила кружку огуречного рассола. Потом вторую. Меня не вывернуло, доза была с маковое зерно. Но на третьей кружке я почувствовала чеснок. Потом укроп. Потом смородиновый лист и хрен, который я сама туда клала в августе.

Я села на ступеньку погреба и заплакала, второй раз за шестнадцать лет. Первый был над злой кашей.

Про рассол я тогда никому не сказала. Меня никто и не спрашивал, а я не подумала, что это важно. Мало ли чем человек отпивается с перепугу. Запомните это, а я пока пойду дальше.

* * *

Граф Холт пришёл через кухню.

Он всегда так ходит: начальник Северного отделения не любит парадных дверей. А на кухне у меня под потолком висит полынь, от мух и от сглаза, шесть пучков. Он вошёл, высокий, седой на висках, со шрамом через бровь, поглядел наверх, сказал: «Доброе утро, Ру…» и чихнул так, что с полки упала крышка.

— Будьте здоровы, ваше сиятельство.

— Благодарю. Четырнадцать лет, — сказал граф Холт в платок. — Четырнадцать лет я женат на женщине, у которой это растёт вместо забора. Где он?

— Наверху. Считает.

— Что считает?

— Не знаю. Убытки от чашки.

Граф поглядел на меня поверх платка. Про него говорят, что он слышит, когда врут. Я сказала правду, так что он только хмыкнул.

За ним вошли двое с заставы. Тима Полынова я знаю с тех пор, как он бегал босиком и таскал у нас с кухни пирожки. Теперь он дознаватель, ходит в сапогах, в которые можно глядеться, и говорит по четыре слова в день. Он кивнул мне и сразу пошёл смотреть на заднюю дверь и на засов. А рядом с ним шла его жена, и вот про неё надо сказать отдельно.

Нелли Полыновой двадцать один год. У неё светлая коса до пояса, веснушки, щербинка между зубами и нос, которым она сдала королевский экзамен. Она младшая нюхачка Северного отделения. Дома у неё двойня, которой нет ещё двух лет, и муж, который молчит, поэтому на службе она разговаривает за троих. Мы с ней не подруги и не враги. Она берёт у меня пироги с капустой и каждый раз говорит, что соли мало.

— Где сахарница? — спросила она с порога. — Мне сказали, яд. Я посмотрю.

Она, конечно, сказала «посмотрю». Нюхачи так говорят.

Мы поднялись наверх. Герцог стоял у окна, заложив руки за спину. Мокрый лист он уже переписал, испорченный лежал отдельно, под рыжим камешком. Стена была вытерта. Секретарь Вирт сидел на стуле у двери с подвёрнутой штаниной и прикладывал к икре мокрое полотенце. Сахарница стояла на подносе, там, где её поставили.

Граф и герцог поздоровались, как здороваются люди, которые давно друг друга знают и не особенно любят. Потом я узнала почему: три года назад казначей урезал Особому отделу деньги на овёс, а граф написал ему письмо на шести страницах.

Нелли подошла к подносу. Сняла крышку-луковицу. Закрыла глаза, наклонилась и потянула носом, сперва коротко, потом длинно. Все молчали. Тим глядел на неё так, как он на неё глядит, когда думает, что никто не видит.

— Сахар, — сказала Нелли. — Тростниковый, заморский, везли в бочке из-под рома, в Сольмаре кололи медными щипцами. Серебро чистили мелом и нашатырём, недели две назад. Сукно в ящике новое, клей рыбий. Ещё чернила и сургуч, но это тут от всего, тут даже от гуся чернилами тянет. — Она открыла глаза. — И всё.

— И всё? — спросил граф.

— Больше ничего нет. Я бы услышала. Я слышу мышьяк через закрытую дверь. — Она повернулась ко мне, и щербинка у неё стала сердитая. — Рута, ты уверена? Может, у тебя просто язык обожжён? Ты же вечно хватаешь с плиты.

— Уверена.

— Оно ничем не пахнет!

— Я так и сказала. Не пахнет.

— Так не бывает. Всё чем-нибудь пахнет. Вода пахнет!

— Нелли, — сказал Тим. Одно слово из четырёх.

Она замолчала, но надулась. Я её понимаю. Если бы при мне кто-нибудь заявил, что в супе лежит то, чего я не слышу, я бы тоже полезла в драку.

Граф Холт посмотрел на меня.

— Вы уверены, — сказал он. Не спросил, а повторил, и голову чуть наклонил набок, как птица. Слушал.

— Да, ваше сиятельство.

Он кивнул. Видно, в ушах было тихо.

— Мэтр Гроссе ещё здесь? Пусть подскажет, чем это проверяют.

Мэтр Гроссе был здесь, он стоял в коридоре в своих туфлях и ни за что не хотел уходить. Он сказал, что всё это бабьи выдумки и нервы, но если уж на то пошло, то дрянь из рудников, какая бы она ни была, чернит серебро, это знает любой аптекарский ученик. Развели ложку сахара в стакане воды. Опустили в стакан серебряную чайную ложечку его светлости. Граф запер стакан в дорожный сундук, а ключ положил себе в карман.

— До утра, — сказал он. — А теперь по одному. Начнём с ящика.

Спрашивали до обеда. Я стояла у двери, меня не отпускали, и я всё слышала. Ящичек с сахарницей уложил в Сольмаре Бартоломей, своими руками, и сахар он колол сам. Ехал ящичек во второй карете, с сундуками. Ночевали в дороге четыре раза, на почтовых дворах. В Нижних Ключах карета с сундуками час стояла у кузницы без присмотра, потому что перековывали пристяжную. Ключей от ящичка нет, он на крючке.

— То есть кто угодно, — сказал граф.

— От Сольмара до вашей кухни, — сказал герцог. — Сто девяносто вёрст. Я бы не стал сужать.

— Вы бы не стали. — Граф потёр шрам на брови. — Ваша светлость, это четвёртый раз.

Вот тут я и узнала, что был первый, второй и третий.

* * *

Рассказывал секретарь Вирт. Герцог стоял у окна и не оборачивался.

В первый раз, в феврале, у его светлости сдохла собака. Старая борзая, она ещё при покойном отце спала у камина. Она доела за ним овсянку, она всегда доедала. Легла и не встала. Решили: от старости.

Во второй раз, в марте, слёг лакей, который допил его чай. Три дня лежал, синий, как утопленник, потом отошёл. Вот тогда и позвали сыск.

В третий раз, в апреле, не слёг никто. Просто повар, которого взяли в дом пробовать, на второй день собрал узел и сбежал через сад, а в записке написал, что ему жизнь дорога и что такого места он не желает и врагу.

— Тогда кухню в доме заперли совсем, — сказал Вирт. — Варит Бартоломей, на спиртовке, у него на глазах. Воду берут из колодца сами, крупу старик носит при себе и спит на ней. Сахар… про сахар мы не подумали. Он и кладёт-то одну ложку. — Он потёр лицо ладонями. Мне стало его жаль: он один в этой комнате выглядел так, будто ему страшно. — Король велел ему уехать. Сказал: Штальберг, вы мне нужны живой, поезжайте считать север, там воздух. У Холта, сказал, застава, школа с противоядиями и два лучших носа в королевстве.

— Нос тут не поможет, — сказал граф.

— Я слышу! — сказала Нелли. — Я стою рядом!

— Никто и не говорит, что вы плохо слышите, сударыня Полынова, — сказал герцог. Он наконец обернулся. — Вещество не имеет запаха. Это свойство вещества, а не недостаток вашего носа. Если я правильно понял, оно почти не имеет и вкуса, пока не становится поздно. Лакей говорил, что чай был как чай. — Он посмотрел на меня. — А вы почувствовали его с крупинки. За три секунды.

— За четыре, — сказала я. — На четвёртой холодит.

— За четыре, — повторил он. И я увидела, как он это записал. Не пером, а так, внутри.

Больше в тот день ничего не было. Меня отпустили к плите. Я подала обед на тридцать человек, потому что в зал набилось полгорода смотреть на стену, в которую попала чашка. Соли положила как всегда.

А утром граф Холт отпер сундук.

Ложечка лежала в стакане. Вчера она была белая, ясная, с гербом на черенке. Сегодня она была чёрная до самого герба, как будто её год продержали в печной трубе.

Нелли глядела на неё долго. Потом подошла ко мне и ткнула пальцем в плечо.

— Ладно, — сказала она. — Язык так язык. Но пироги у тебя всё равно недосолены.

* * *

Позвали меня после завтрака, в малую комнату за залом, где старый Йорген обычно рядится с возчиками.

Там сидели трое. Граф Холт у двери, подальше от моей полыни. Секретарь Вирт с папкой. И герцог, прямо напротив входа, за столом, на котором лежал лист бумаги и серый камешек.

— Садитесь, — сказал герцог.

Я не села.

— Как вам угодно. Я изложу. — Он положил обе ладони на стол, пальцами вперёд. Пальцы у него были длинные, чистые, в чернилах только средний на правой. — Меня хотят убить. Средство, которым это делают, не определяется ни носом, ни травами, ни серебром быстрее, чем за ночь. Определяете его вы, и, насколько известно графу и мне, во всей Аверни только вы. Ревизия северного округа займёт сорок дней. Я предлагаю вам на это время место при моём столе. Вы пробуете всё, что я ем и пью, прежде меня. Плата две кроны в день. Итого восемьдесят.

Старый Йорген платит мне полторы кроны в месяц, с харчами и комнатой. Это хорошие деньги. Я не жалуюсь.

— Нет, — сказала я.

— Вы не дослушали условия.

— Я дослушала цену. Нет.

Вирт поднял голову от папки. Граф Холт у двери не пошевелился, только опять чуть наклонил голову.

— Позвольте узнать причину, — сказал герцог.

Причину. У меня их было шестнадцать, по одной на каждый год. Я могла бы сказать ему: потому что ты Штальберг. Потому что в твоём доме уже была одна женщина, которая стояла между вами и чашей, и я знаю, где она теперь. Потому что если ты всё-таки умрёшь за моим столом, от моей ложки, то на суде найдётся кто-нибудь, кто видел, как кухарка сама несла.

— Я не пробую яд за деньги, — сказала я. — Вчера у меня на час отнялся язык. С одной крупинки. У меня, ваша светлость, кроме языка ничего нет. У вас есть королевство, вот пусть оно вас и пробует.

Граф чихнул. По-моему, не от полыни.

— Сударыня Кмин, — сказал Вирт. Он встал, обошёл стол и встал передо мной. Глаза у него были карие, круглые, как у доброй собаки. — Рута. Можно я так? Я не буду говорить вам про долг перед Короной, вы меня выгоните половником и будете правы. Я скажу другое. Я его знаю с тех пор, как мы оба ходили под стол. Он невозможный человек. Он вчера пересчитал у вашего хозяина вёрсты, кружки и свечи. Но он один на всё королевство не берёт. Вы понимаете? Совсем. Поэтому его и травят. Если его не станет, на его место сядет тот, кто берёт, и вы это почувствуете на цене муки раньше, чем в столице напишут некролог.

— Ансгар, — сказал герцог. — Сядь. Это не довод.

— Это единственный довод, Северин!

— Она назвала свой. Он весомее. Человек вправе оценить свой язык дороже восьмидесяти крон. — Герцог взял серый камешек и переложил его с правого края листа на левый. — Благодарю вас, сударыня. Вчера вы сохранили мне жизнь, и я этого не оговорил. Счёт за кувшин и за ваш испорченный час внесите хозяину, я оплачу.

И он опустил глаза в бумагу. Разговор был окончен.

Я вышла.

Я дошла до кухни, прикрыла дверь и села на свой мешок. Младший поглядел на меня и сам, без слова, ушёл во двор. На плите тихо ходила крышка. Под потолком шуршала полынь.

Он не стал меня уговаривать. Вот что меня задело. Я приготовилась, что на меня будут давить, пугать, сулить, и я буду стоять, как сваи под мостом. А он сказал: вправе. И ещё: я этого не оговорил. Как будто жизнь, это статья в счёте, которую забыли вписать.

Я посидела. Потом встала на табурет и сняла с верхней полки горшок из-под гречишного мёда. В нём давно нет мёда. В нём лежит тряпица, а в тряпице сорок семь крон. Серебром, марками и медью, я меняла медь на серебро девять лет. Я их пересчитала. Я всегда их пересчитываю, хотя знаю, сколько там.

Сорок семь.

Теперь слушайте. Есть в Авернии такой закон, про бессрочных. Кто отработал в копях пятнадцать лет и не бунтовал, того можно перевести наверх, на поселение при руднике. Там дают угол, огород и работу при кухне или при прачечной. Там есть окно. Но за поселенца должен кто-нибудь внести залог: сто двадцать крон, на случай побега. У кого родня богатая, те выходят. Остальные рубят соль до конца.

Мать отработала шестнадцать.

Я узнала про залог девять лет назад, от проезжего стряпчего, который расплатился со мной советом вместо чаевых. С тех пор коплю. При моём жалованье, если не болеть и не покупать башмаков, выходит пять крон в год. Я всё рассчитала: оставалось четырнадцать с половиной лет. Мне будет сорок. Ей шестьдесят семь. Если доживёт.

Сорок семь и восемьдесят, это сто двадцать семь.

Не через четырнадцать лет. Через сорок дней. К Солнцевороту.

Я завязала тряпицу, поставила горшок на место и слезла с табурета. Вытерла руки о фартук. Перевязала косынку. Вы скажете: вот и вся твоя гордость, Рута Кмин, на восемьдесят крон. А я вам скажу, что гордостью мать из-под земли не достанешь. И ещё скажу, уже для себя:

если кто-нибудь и должен заплатить за то, чтобы Ханна Тиль увидела окно, то пусть это будет Штальберг. Его деньгами. Это почти справедливо.

Они ещё сидели в малой комнате. Вирт что-то горячо говорил, граф слушал. Герцог писал.

— Половину вперёд, — сказала я с порога.

Он поднял голову.

— И три условия. Первое. Я не пробую чужое. Я пробую своё. Вы едите то, что я приготовила своими руками на своей кухне, с первой ложки до последней корки, и больше ничего. Воду вам ношу я. Чай завариваю я. Мешочек с крупой заберите у старика и отдайте гусю.

— Вы предлагаете мне…

— Я не предлагаю. Вы подумайте головой, вы же умеете. Как мне поймать чужую руку в чужой стряпне, если я этой стряпни в первый раз вижу? А в своём супе я знаю каждую крупинку. Если туда залезут, я услышу раньше, чем донесу ложку до рта.

Граф Холт медленно кивнул. Герцог глядел на меня, и я опять видела, как он считает.

— Это разумно, — сказал он. — Однако я ем овсянку. Вам придётся варить овсянку.

— Второе условие. Овсянки не будет.

— Простите?

— Я эту вашу кашу пробовала. В ней ничего нет. Ни злости, ни радости, там даже старик ваш не отпечатался, а он её четырнадцать лет варит. Если в неё насыплют хоть мела, хоть вдовьего сахару, мне не от чего будет отличать. Это как искать следы на голом льду. Мне нужна еда, в которой есть вкус. Щи. Похлёбка. Мясо. Пироги.

— Я не ем мяса. И пирогов.

— Будете.

Вирт закрыл лицо папкой. Плечи у него тряслись. Герцог Штальберг, главный казначей Короны, перед которым седеют писари, смотрел на меня так, будто я потребовала вписать в королевскую роспись статью «на леденцы».

— Это не обсуждается, — сказал он.

— Тогда ищите другой язык, ваша светлость. Во всей Аверии. Вы сами сказали, сколько их.

Было тихо. За стеной в зале кто-то уронил ложку.

Он взял серый камешек. Подержал. И положил обратно на правый край.

— Третье условие?

Третьего у меня не было. Я сказала «три» для весу, у нас на рынке всегда так говорят. Я поглядела в окно, во двор, и увидела там Казначея. Он стоял под окном лучшей комнаты, задрав голову, и ждал.

— Гуся не гоните, — сказала я. — Он сам знает, за кем ходить.

— Принято, — сказал герцог. — Сорок крон вам принесёт господин Вирт до полудня. Пишите расписку.

Так я нанялась умирать за Штальберга. По две кроны в день, половина вперёд.

Мать бы меня за это убила. Но чтобы убить, ей сперва надо было оттуда выйти.

Глава 4. Северин.

Счёт первый

Счёт. Тихий Брод, трактир «Хромой гусь». С 12 по 14 мая.

Приход: жизнь, одна, моя. Сохранена посторонним лицом без предварительного уговора.

Расход: чашка фарфоровая, одна. Кувшин глиняный, один. Лист ведомости по Нижним Ключам, один, переписан. Наволочка. Сорок крон задатка. Овсянка, вся.

Остаток: смотри в конце.

Я веду счёт каждый вечер с восемнадцати лет. Меня не учили этому, я начал сам, в ту зиму, когда выяснилось, что человек может подписать бумагу, не прочитав, и что от этого бывает. С тех пор я читаю всё, что подписываю, три раза. И записываю всё, что со мной произошло за день, в два столбца. Многие считают это болезнью. Я не спорю. У каждого своя.

Итак, по порядку.

Мы прибыли двенадцатого, в шестом часу. Дорога от Нижних Ключей заняла на сорок минут больше расчётного, колесо сделало девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят оборотов, что при окружности в два аршина даёт тридцать девять с половиной вёрст, а не сорок две. Разницу в прогонных я взыщу с почтового ведомства. Ансгар говорит, что из-за двух с половиной вёрст меня однажды зарежут на постоялом дворе. Он говорит это двадцать лет. Пока что меня травят, а это, если подумать, более высокая оценка.

Город небольшой. Мостовая в порядке, водостоки чищены, часы на ратуше отстают на семь минут. Бургомистр боится меня до дрожи в цепи, из чего я заключаю, что он честен: воры меня встречают спокойно, у них всё подшито.

На крыльце трактира стояли хозяин, его жена, подросток и кухарка.

Я узнал её сразу. Это следует записать точно, потому что я не полагаюсь на память, а здесь мне придётся на неё положиться. Я не помню её лица ребёнком. Я видел её один раз, шестнадцать лет назад, ночью, на кухне моего отца, куда я спустился за хлебом, поскольку за ужином не ел. Под большим столом сидела девочка с чёрной косой и чистила горох. Она посмотрела, как я режу хлеб, и сказала: «Вы горбушку взяли. Горбушку берут, кто торопится. Мякиш вкуснее». Я ответил, что тороплюсь. Она сказала: «Оно и видно».

Через одиннадцать дней её мать увезли.

Лица я не помню. Но на крыльце стояла женщина ростом мне по плечо, с той же косой, в косынке, повязанной так, как их повязывали у нас на кухне, узлом назад и чуть набок. Она держала половник, как держат оружие. И она поглядела на меня так, как тогда из-под стола: будто я взял не тот кусок.

Потом бургомистр прочёл моё имя, и она уронила половник.

Этого довольно для опознания. Но у меня было и другое.

* * *

Четыре месяца назад я написал письмо, которого не дал переписать Ансгару.

За десять лет это единственное. Он переписывает всё: у него рука лучше моей, и он знает мои дела, как свои. Но это письмо я написал сам, сам запечатал и сам отнёс стряпчему, который не имеет отношения к казначейству. Я просил узнать, что сталось с дочерью кухарки Ханны Тиль, осуждённой в ноябре такого-то года. Девяти лет от роду, имя Рута.

Я не знаю, почему я скрыл это от Ансгара. Вернее, знаю и записываю: мне было стыдно. Он был в ту зиму рядом со мной. Он помнит, каким я вернулся из суда. Он тогда сказал: «Ты сказал, что видел. Ты и вправду видел. Чего ты от себя хочешь?» Он повторил бы это и теперь, и был бы прав, а я не хотел, чтобы он был прав.

Стряпчий ответил в марте. Девочку забрала родня матери, некая Клара Кмин, по мужу трактирщица. Север, городок Тихий Брод на Иве. Трактир «Хромой гусь». Девочка жива, носит фамилию тётки, служит при трактире кухаркой. Не замужем. Отзывы о стряпне благоприятные, с одной оговоркой: мало соли.

Я прочёл это письмо трижды. Положил под белый камень, к делам, которые не имеют срока.

А в апреле, после третьего случая, меня вызвал король. Его величество сказал, что устал читать доклады о том, чем меня кормили, и велел ехать на север, под крыло графа Холта, считать округ. Он спросил, с какого города я желаю начать. Я ответил не раздумывая. Ансгар удивился: Тихий Брод стоит в ведомости четвёртым. Я сказал, что он ближе к дороге.

Это была ложь. Небольшая. Граф Холт, я думаю, услышал бы.

Так что на крыльцо я поднимался, зная, кого увижу. И у меня было приготовлено, что сказать. Я составил это в карете, между оборотами колеса. Четыре предложения. Первое: сударыня, я знаю, кто вы. Второе: в январе я подал прошение о пересмотре дела вашей матери. Третье: я прошу вас быть свидетелем. Четвёртое я составить не сумел. Четвёртое должно было быть о том, что я прошу прощения, но я не знаю, как это говорят. В королевской росписи доходов и расходов такой статьи нет. Я проверял.

Я собирался сказать первые три после ужина. Наедине, без бургомистра.

Она подняла половник и посмотрела сквозь меня.

Я попросил кипятку и ушёл наверх.

* * *

Теперь об отце. Это надо записать один раз полностью, чтобы более не возвращаться.

Конрад, герцог Штальберг, член Королевского совета, держатель трети соляного откупа в Зальцгруде. Он был громкий человек. Он ел много и с удовольствием, держал повара из Альвиза и шесть перемен к обеду, и говорил, что человек, который не любит поесть, не любит и жить. Меня он считал скучным. Он был прав. Я в восемнадцать лет был таким же, как теперь, только менее вежлив.

Третьего ноября он поужинал, поднялся к себе и велел подать горячего мёду с пряностями. Он пил его на ночь всю зиму. Я встретил чашу на лестнице. Её несла кухарка, сама, в обеих руках, прикрыв полотенцем. Я посторонился. Она сказала: «Доброй ночи, ваша светлость. Я сама, лакея-то услали». Я кивнул и пошёл вниз. Мне не было дела до того, кто носит мёд.

Утром отца нашли мёртвым. К вечеру в чаше нашли яд.

Судья спросил меня: видел ли я, кто нёс чашу в комнаты герцога. Я ответил: видел, кухарка Тиль. Он спросил: одна ли, и несла ли сама. Я ответил: одна, сама. Он спросил, не странно ли это, ведь чашу подаёт лакей. Я ответил: она сказала, что лакея услали. Судья сказал писарю: «Запишите существенное».

Мне дали протокол. Это было на второй день после похорон. Я не спал две ночи. Я увидел свою фамилию, слова «видел» и «сама», и подписал.

Слов про лакея в протоколе не было. Я узнал об этом через три года, когда уже служил в казначействе младшим счётчиком и научился читать бумаги. Я затребовал дело из любопытства. Прочёл. Пошёл к тому судье. Он был очень любезен. Он объяснил, что слова подсудимой, пересказанные свидетелем, не есть показание, что лакей под присягой отрицал, будто его куда-либо усылали, что яд был в чаше, а чашу варила и несла одна женщина, и что приговор, слава Матери-Земле, вышел мягкий. Он спросил, чего я, собственно, хочу. Я не нашёл, что ответить. Мне был двадцать один год.

Вот с тех пор я читаю трижды.

И с той же зимы я не чувствую вкуса. Это началось на поминальном обеде. Подали то же, что любил отец, шесть перемен, и я положил в рот кусок жареного мяса и понял, что жую бумагу. Не дурную бумагу, обыкновенную, писчую. Я подумал, что это пройдёт. Я ждал два года. Доктора нашли меня здоровым и прописали воды. Потом я велел Бартоломею варить овсянку, потому что овсянка, по крайней мере, честна: она и должна быть никакой. Она ничего не обещает. Ансгар утверждает, что я таким образом наказываю себя. Ансгар читает романы.

А год назад я проверял старые книги нашего дома. Не было надобности, был свободный вечер. Я дошёл до соляных счетов за те годы и увидел, что вес, отгружённый из Зальцгруда, шесть лет подряд расходится с весом, принятым на наших складах. Около четырёх долей на сотню ежегодно. За месяц до смерти отца расхождение прекращается.

Отец не был скучным человеком, но считать он умел. Если это увидел я, мог увидеть и он.

Я подал прошение в Королевскую комиссию о пересмотре дела. Официально, с печатью, с выписками. Ансгар переписал его набело и сказал, что я сошёл с ума: шестнадцать лет, все

свидетели перемерли, а я хочу откопать покойника, чтобы спросить, не болит ли у него живот. Потом он принёс мне чаю и сказал, что всё равно на моей стороне. Он всегда на моей стороне. У меня, кроме него, никого нет, и я это записываю не для жалости, а для полноты счёта.

Прошение ушло в январе. В феврале издохла Герта, отцова борзая.

Связь очевидна и ребёнку. Кто-то очень не хочет, чтобы покойника откапывали.

* * *

Утро тринадцатого.

Гусь явился в шесть. Хозяин накануне показал, что у птицы нет имени. Хозяин солгал. В шесть часов утра подросток кричал под окном: «Казначей, отдай ведро!» Я полагаю, что названа птица в мою честь. Основания: хрома, крива, жадна, всеми нелюбима. Отмечаю, что ранее в мою честь ничего не называли. Гуся я дважды выносил. Он дважды возвращался. Он лёг под столом и молча смотрел, как я работаю. Ни один из моих подчинённых не способен на это дольше четверти часа.

Она вошла в семь с четвертью. С кипятком, которого я не ждал из её рук.

Я не обернулся. Я видел её в оконном стекле, оно здесь старое, зеленоватое, и отражает хорошо. Она стояла и смотрела мне в спину. Я думаю, она хотела понять, что я такое. Меня многие так разглядывают, но обычно при этом прикидывают, сколько я стою.

Я решил, что сейчас допишу строку, повернусь и скажу первое предложение.

Бартоломей просыпал сахар. Она прижала палец.

Дальнейшее заняло четыре секунды. Она поправила меня: я считал три.

Вот что я должен занести в расход, и не знаю, по какой статье. Когда она ударила меня по руке, я не испугался. Я смотрел, как летит чашка, и думал совершенно отчётливо: дочь Ханны Тиль только что не дала мне выпить яд. Она знает, кто я. Ей достаточно было опоздать. Не ударить, не отравить, упаси Мать-Земля, а всего лишь промедлить, пока я глотаю, и потом честно закричать. Никто на свете её бы не упрекнул. Я бы и сам не упрекнул.

Она не промедлила.

А потом я спросил, откуда она знает этот вкус. Мне нужен был ответ для дела: яд тот же, что в чаше отца, я был уверен в этом с февраля, но ни один аптекарь не взялся его назвать. И она назвала. Вдовий сахар. А на вопрос «когда пробовали» ответила: «Только что».

Она пробовала его не только что. У неё при этих словах стало такое лицо, какое бывает у человека, который держит дверь плечом.

Значит, ребёнок что-то знал уже тогда. Ребёнок, которого никто не спросил. В деле есть строка: «дочь подсудимой, малолетняя, к допросу не привлекалась». Я читал её трижды.

Я мог сказать в эту минуту: я знаю, когда вы пробовали. Я не сказал. В комнате были Ансгар, хозяин, булочница и стражник. Потом пришёл граф. Потом было поздно, потому что возникло новое обстоятельство.

Обстоятельство следующее. Граф Холт сказал мне сегодня, когда вынул из стакана чёрную ложку, с глазу на глаз: «Она единственная, кто это ловит. Вам нужен пробователь, и другого нет. Нанимайте». Я ответил, что не могу нанять её пробовать яд. Он спросил почему. Я сказал, что это неприлично. Он посмотрел на меня, наклонив голову, и сказал: «Ваша светлость, у меня от вас сейчас зазвенело. Неприлично, это не причина. Причину вы мне назовёте, когда сочтёте нужным. А пока решайте, что вам дороже: приличия или ревизия округа, которую некому будет закончить».

Я плохо переношу графа Холта. Он единственный человек в королевстве, с которым я не могу округлять.

Я сделал предложение. Она отказалась, и я испытал облегчение, которое также следует записать. Она была в своём праве. Я закрыл вопрос.

Она вернулась через семь минут.

Семь минут, это от малой комнаты до кухни и обратно, плюс около пяти на месте. Что можно сделать на кухне за пять минут, чтобы изменить цену своей жизни? Я этого не знаю. Она пришла с тем же лицом, но с другим решением, и потребовала половину вперёд. Людям, которые нанимаются из жадности, не нужна половина вперёд, им нужно всё и побольше. Половину вперёд просят, когда деньги уже назначены на что-то и срок близок.

Я выясню, на что. Не из любопытства. Если ей нужны восемьдесят крон настолько, что она встала между мной и ядом, то я обязан знать, не дешевле ли было просто дать их.

Нет. Это неверная запись, вычёркиваю. Она бы не взяла. Она и эти берёт так, будто взыскивает.

Теперь об условиях. Она запретила овсянку. Она объяснила почему, и объяснение безупречно: в пустом нечего различать. Я не нашёл возражений, а я искал. Ансгар смеялся в папку. С завтрашнего утра я ем то, что она готовит. Щи, мясо, пироги.

Заношу в счёт то, чего она знать не может. Мне безразлично, что жевать. Бумага с капустой или бумага с мясом, разница для меня в цене, а не во вкусе. Я не поэтому держался за овсянку. Я держался за неё потому, что четырнадцать лет не садился за накрытый стол. Мой отец умер от того, что ему подали. Когда передо мной ставят тарелку, я вижу лестницу и полотенце на чаше.

Этого я ей не скажу. Она нанята пробовать, а не слушать.

Ансгар заходил перед сном. Принёс расписку, она написана крупно, без единой ошибки, внизу: «Рута Кмин». Не Тиль. Он положил расписку и сел на край стола, чего я не терплю и что он делает с шести лет.

— Она тебе не нравится, — сказал он.

— У меня нет о ней суждения.

— У тебя есть суждение о цене подков в Каменце. Северин, она спасла тебе жизнь, обозвала твою кашу и заставит тебя есть суп. Я за ней готов ходить, как твой гусь. А ты на неё смотришь, будто она ведомость с подчисткой.

— Иди спать, Ансгар.

Он ушёл. Нога у него распухла, гусь щиплет до синяка. Я велел Бартоломею дать ему свинцовой примочки.

Он ошибся. Я смотрю на неё не как на ведомость с подчисткой. Я смотрю на неё, как на долг, по которому шестнадцать лет не плачены проценты, и который я приехал наконец признать, а вместо этого занял у того же заимодавца ещё.

Я лягу. Внизу, под полом, кто-то ходит и гремит заслонкой. Двенадцатый час. Насколько я понимаю, она ставит тесто на завтра.

Остаток.

Жизнь: одна, в наличии.

Долг: шестнадцать лет. Одна женщина в соляных копях. Одна девочка под столом, которая сказала мне правду про горбушку. Не погашен.

Четыре предложения: в наличии три. Не израсходовано ни одного.

Не сказал.

Глава 5.
В которой Бруна берёт жениха на пробу

Чем кормят человека, который четырнадцать лет ел штукатурку?

Я думала об этом полночи, пока ставила тесто. Это, если хотите знать, трудная задача, потруднее свадебного стола на сто человек. Дайте такому утиную ногу, и у него к обеду скрутит живот, а виновата буду я, и никакой граф Холт не докажет, что это от непривычки, а не от моей руки. Желудок, который годами не видел масла, надо будить, как будят лежачего больного: сперва посадить, потом спустить ноги, а плясать потом.

К рассвету я решила. Пшённая каша, томлёная в печи на топлёном молоке, с маслом, которое я сама сбивала в субботу. Яйцо всмятку, из-под нашей пеструшки, ещё тёплое. Ломоть Бруниного хлеба, вчерашнего, чтобы не тяжело. И чай, заваренный мной, из моей жестянки, с липовым цветом.

Соли в кашу я положила щепоть. Потом подумала про столицу и положила ещё три крупинки.

Граф Холт всё устроил ещё с вечера. Есть его светлость будет в малой комнате за залом, там одна дверь, и она выходит прямо на кухню, мимо меня не пройти. Окно во двор, под окном Казначей. От плиты до стола несу я сама, из рук не выпускаю. Посуду мою я, держу её у себя на полке, под полотенцем. Воду беру из колодца сама и сама отпиваю.

— И пробуете при нём, — сказал граф. — Из его тарелки. Его ложкой.

— Это ещё зачем? Я на кухне попробую.

— На кухне вы попробуете кашу. А яд можно положить не в кашу. Им можно натереть ложку. Присыпать край тарелки. Вы будете пробовать то, что в самом деле попадёт ему в рот, и тем, чем оно туда попадёт.

Я подумала и согласилась. У графа Холта неприятный ум, он всё время думает, как бы он сам кого-нибудь отравил.

В семь утра его светлость спустился вниз. Он был застёгнут, как вчера и позавчера, и сел за стол так, как садятся к зубодёру: прямо, руки на коленях. Гусь уже ждал под окном. Секретарь Вирт пришёл с ним, сел в угол и развернул папку, но глядел не в папку, а на мой горшок.

Я поставила кашу. Сняла крышку. Пар пошёл такой, что Вирт застонал.

— Что это? — спросил герцог.

— Пшено.

— Оно жёлтое.

— Оно и должно быть жёлтое. Оно, ваша светлость, шесть часов стояло в печи. Давайте ложку.

Он подал мне свою ложку, серебряную, с гербом, держа за самый кончик черенка. Я зачерпнула из его тарелки, с краю, потом из середины, потом сняла масло, которое натекло в ямку. Положила в рот.

Раз. Пшено, молоко, масло, соль, вот она, моя щепоть. Два. Печной дух. Три. Ничего. Четыре.

Я подождала ещё и пятую, для верности. На корне языка было тепло и чисто.

— Ешьте, — сказала я и отдала ему ложку.

Он взял её. Посмотрел на неё. Я видела, что ему хочется вытереть её салфеткой и что он считает, оскорбит ли это меня и перевесит ли оскорбление пользу от вытирания.

— Это негигиенично, — сказал он.

— Зато живы.

Он подумал, кивнул, зачерпнул каши и положил в рот.

Я вам честно скажу: я ждала. Я всё-таки кухарка. Я ждала не слёз, упаси Мать-Земля, и не «сударыня, выходите за меня». Но человек четырнадцать лет не ел ничего, кроме серого клея, и вот ему дали пшённую кашу из печи, жёлтую, как одуванчик, с пенкой. У него должно было хоть что-нибудь сделаться с лицом.

Ничего не сделалось. Он жевал, как лошадь жуёт овёс: ровно, сколько положено раз, глядя в стену. Проглотил. Зачерпнул ещё.

— Ну? — сказала я.

— Что «ну»?

— Вкусно?

Он положил ложку. Не бросил, положил, параллельно краю стола.

— Сударыня Кмин, вы наняты установить, безопасна ли пища. Она безопасна. Суждением об остальном я не располагаю.

— Чем не располагаете?

— Он хочет сказать, что каша божественная, — быстро сказал Вирт из угла. — Он просто не умеет. Рута, а там в горшке не осталось? Я пробовать не нанимался, я так, из любви.

Я не ответила. Я взяла яйцо, срезала ему макушку ножом, зачерпнула его ложкой желток, попробовала, отсчитала до пяти. Подвинула ему. Отломила от хлеба корочку, пожевала. Отпила из его чашки.

И вот в ту самую минуту, когда я стояла, наклонившись над герцогом Штальбергом, с его серебряной ложкой во рту, а он глядел на меня снизу вверх и ждал, пока я досчитаю, дверь из кухни открылась.

— Рута, детка, я за дрожжами, у меня свои что-то…

Бруна замолчала.

Вы должны знать Бруну. Все должны знать Бруну. Вдова Пешт, а теперь уже двадцать лет как капитанша Гуннар, хотя никто её так не зовёт, держит пекарню на площади, печёт лучший хлеб от Ивы до Каменца и знает о каждом жителе Тихого Брода больше, чем он сам. Ей под шестьдесят. Она большая, белая, в муке по локоть, и голос у неё такой, что им можно созывать ополчение. Она женила полгорода. Вторую половину она женит сейчас.

Я вынула ложку изо рта и отдала герцогу. Он взял и, поскольку был человек порядка и считал, что прерванное действие следует завершить, зачерпнул желток и съел.

Бруна схватилась за косяк.

— С одной ложки, — сказала она шёпотом. Шёпот у неё слышно в храме. — Мать-Земля милосердная. С одной ложки!

— Бруна, — сказала я, — это не то.

— Она ему пробует, а он за ней ест! При свидетеле! — Она ткнула пальцем в Вирта. — Вы свидетель! Ваша милость, вы видели?

— Я видел, — сказал Вирт, который ничего не понял, но был счастлив.

— Сударыня, — сказал герцог, вставая, — позвольте вам объяснить…

Он не успел. Никто никогда не успевал. Бруна уже развернулась, уже шла через кухню, через зал, сшибая лавки, и уже кричала, ещё не дойдя до двери:

— Клара! Йорген! Люди! Рута-то наша! Рута казначея на пробу взяла!

* * *

Теперь мне придётся рассказать про обычай, иначе вы решите, что в нашем городе все сумасшедшие. Это не так. У нас сумасшедшая одна Бруна, а остальные её слушаются.

В Тихом Броде в старину парней брали на пробу.

Не знаю, как в других местах. У нас считалось, что жениться с одного погляду глупо: на гулянье всякий хорош. А ты поживи при ней сорок дней. Не в доме, упаси Мать-Земля, в доме до свадьбы нельзя, а при её столе. Ешь, что она варит. Все сорок дней, утром, в обед и вечером, только её стряпню и больше ничью, даже материну. Если стряпня ей не удаётся, ты это узнаешь к концу первой недели. Если она сама злая, скупая или ленивая, ты это узнаешь тоже, потому что такое в горшке не спрячешь. Мне ли не знать.

И она тебя узнает. Как ты ешь. Благодаришь ли. Что делаешь, когда недосолено. Можно ли с тобой сидеть за одним столом сорок лет.

А чтобы жених не боялся, что его приворожат или, наоборот, изведут, первую ложку невеста пробует сама. При нём. Из его миски, его ложкой. С одной ложки, так это и называется.

Последний раз у нас брали на пробу, когда меня на свете не было. Потом пришла мода на записки, на сватов, потом Бруна возродила Летний жребий, и про Пробу помнили только старухи. И Бруна. Бруна помнит всё, что кончается свадьбой.

К тому времени, как я выскочила на крыльцо, на площади стояло человек сорок. Через минуту их стало шестьдесят. Бруна возвышалась посередине, у колодца, и рассказывала. Я услышала: «…наклонилась к нему вот так, а он глядит, а она ему из своих рук…» Вдова Мартенс обмахивалась листом лопуха. Торвальд-кузнец вышел в фартуке. Марта Пим бежала от ратуши, придерживая чепец. Мальчишки сидели на заборе, как воробьи.

— Бруна! — закричала я. — Замолчи! Это не проба! Я ему…

И тут меня сзади взяли за локоть. Крепко. Третий раз за четыре дня, только рука была не тёти-Кларина.

— Сударыня Кмин, — сказал граф Холт мне в ухо. — На два слова. Сейчас.

Он втянул меня обратно в сени, оттуда в малую комнату, и закрыл дверь. Герцог стоял у стола. Вирт так и сидел в углу с открытым ртом. Под окном орал гусь.

— «Я ему» что? — спросил граф. — Договаривайте. Что вы собирались крикнуть на всю площадь?

— Что я ему пробую! Что он платит мне за…

Я замолчала. Граф глядел на меня и ждал, пока до меня дойдёт. До меня дошло.

— Вот именно, — сказал он. — На площади сейчас шестьдесят человек. К вечеру об этом узнают в Нижних Ключах, через три дня в Каменце, через неделю в Сольмаре. Что они узнают? Вариант первый. При казначее состоит кухарка с редким даром, которая чувствует его яд с одной крупинки. Тот, кто его травит, прочтёт это и сделает одно из двух. Либо сменит яд. Либо сперва уберёт кухарку. Я бы на его месте начал с кухарки, это проще.

Я села. На тот самый стул, с которого встал герцог.

— Вариант второй, — сказал граф и чихнул, хотя полыни тут не было, это он по памяти. — Казначей приехал на север и угодил на местный обычай. Провинциальная кухарка взяла его в женихи на пробу, ест с ним с одной ложки, и он, чудак, согласился. Смешно. Над ним будут смеяться от Ивы до дворца. Но ни один человек не спросит, почему она пробует его еду. Потому что так положено. — Он убрал платок. — Сударыня Пешт только что сделала для вашей охраны больше, чем всё моё отделение за три дня. Я бы взял её на службу, если бы она умела молчать.

— Вы предлагаете, — сказал герцог медленно, — чтобы я объявил себя женихом.

— На пробе. На сорок дней.

— Это исключено.

— Почему?

— Я не могу быть связан таким образом с… — Он остановился. Поглядел на меня и сразу отвёл глаза. — С сударыней Кмин.

Вот тут я встала со стула.

— С кухаркой, — сказала я. — Вы договаривайте, ваша светлость, тут все свои. С кухаркой из трактира. У неё руки в луке, и ростом она не вышла, и герба у неё нет, даже на ведре.

— Я не это имел в виду.

— А что?

Он молчал. Я вам клянусь, я видела, как у него за светлыми глазами ходят слова, ровно, строем, как гвардия на смотру, и ни одно не выходит из строя. Потом он сказал:

— Иное.

— Очень понятно!

— Рута, — сказал Вирт. — Северин. Ради всего святого. Граф, скажите им, что это не помолвка!

— Это не помолвка, — сказал граф Холт. — Я справлялся у жены, она знает здешние обычаи лучше меня. Проба ни к чему не обязывает. На сороковой день жених либо просит добавки, либо отодвигает миску. Отодвинул, заплатил невесте за стряпню и уехал, и никто никому не должен. Так расходилась половина. Ваша светлость через сорок дней закончит реви-

зию, отодвинет миску и отбудет в Сольмар. Сударыня Кмин получит свои деньги и останется при своей плите, и вдобавок с лестной славой: сам казначей у неё столовался.

— А я? — спросила я. — Мне как потом людям в глаза глядеть? Невеста Штальберга!

Я это сказала не так, как говорят «невеста герцога». Я сказала так, как говорят «жена палача». Я не удержала. Граф наклонил голову. Герцог вздрогнул, первый раз за три дня, еле заметно, плечом.

Но никто ничего не спросил.

— Сорок дней, — сказал граф. — Восемьдесят крон. И вы живы, потому что вас никто не ищет. Решайте оба, и быстрее. Она сейчас дойдёт до ратуши.

Мы с герцогом посмотрели друг на друга. Я вам скажу, что это был за взгляд. Так смотрят двое на базаре, которым всучили одного поросёнка на двоих, и каждый надеется, что другой откажется первым.

— На сорок дней, — сказала я.

— Сто двадцать приёмов пищи, — сказал он. — Я постараюсь не обременять вас более необходимого.

— Ешьте молча, и ладно.

* * *

Бруна принесла книгу.

Она сходила за ней домой, пока мы рядились, и вернулась, прижимая её к груди, как Бартоломей свою спиртовку. Книга была толстая, в холщовом переплёте, прожжённом с угла. «Пробная книга города Тихого Брода, ведена пекарями Пешт». Её начал ещё прадед Брунина первого мужа. В ней записано шестьдесят две пробы за двести лет: кто кого брал, сколько прибавил и чем кончилось.

— Последняя запись, — объявила Бруна на всю площадь и раскрыла книгу на закладке. — Сорок один год назад. «Йорген, сын трактирщика, взят на пробу девицей Кларой Кмин из Нижних Ключей. Прибавил одиннадцать фунтов. Свадьба».

Площадь повернулась к нашему крыльцу. Старый Йорген покраснел, как младший, затылком. Тётя Клара глядела в сторону, на колодец.

— Теперь правила! — сказала Бруна. — Слушайте все, а вы, ваша светлость, особенно, вы человек приезжий. Правило первое. Жених сорок дней ест только то, что сготовила невеста. Ни куска чужого! Ни в гостях, ни у бургомистра, ни от родной матери. Съел чужое, проба кончена и позор на весь город.

— Это совпадает с моими намерениями, — сказал герцог.

Он стоял рядом со мной посреди площади, прямой, как межевой столб, и на него глядело сто человек. Ему это было всё равно. Я потом поняла: на него всю жизнь так глядят.

— Правило второе. Первую ложку пробует она. С его ложки. Ну, это вы уже. — Бруна подмигнула площади, площадь загудела. — Правило третье! Жених каждый день делает для невесты одно дело по хозяйству. Своими руками. Не слугу послать, не денег дать, а руками! Дров наколоть, воды наносить, крышу поправить. Чтобы она видела, на что он годен, когда не за столом.

— Простите, — сказал герцог. — Каждый день?

— Сорок дел, ваша светлость.

Я услышала, как сзади тихо всхлипнул Вирт. Бартоломей, которому никто не объяснил, что происходит, стоял на крыльце и переспрашивал у стражника в правое ухо. Когда ему объяснили, он снял парик, под которым оказалась розовая лысина, и надел обратно задом наперёд.

— Правило четвёртое. За столом не врать. Невкусно, так и говори: невкусно. Пересолено, говори: пересолено. А то знаем мы вас: до свадьбы всё мёд, а после свадьбы «моя мать лучше варила». И она тебе не врёт. Спросишь, что в котле, отвечает как есть.

— Это разумное правило, — сказал герцог. — Его следовало бы ввести в Королевском совете.

— И пятое! — Бруна подняла палец в муке. — На сороковой день пересол. Невеста ставит котёл на площади, и каждый гость, кто придёт, бросает в него щепоть соли. Со словом. Кто счастья желает, кто детей, кто терпения. Сколько гостей, столько щепотей. А потом жениху наливают миску. Съел до дна и попросил ещё, значит, она ему и такая хороша, с любой солью. Свадьба! А отодвинул, значит, расходятся без обиды. Он ей платит за сорок дней стряпни, сколько книга покажет, и ступай себе.

— Сколько же гостей обычно приходит? — спросил герцог.

— На Клару с Йоргеном пришло двести.

Я увидела, как он умножил. У него ничего не дрогнуло в лице, но он это съел в уме, все двести щепотей, и запил.

— Благодарю вас, сударыня, — сказал он. — Правила мне ясны.

— А теперь вешаться! — сказала Бруна.

Тут даже он растерялся.

Оказалось, взвешиваться. В первый день и потом каждую неделю жениха ставят на весы, а привес пишут в книгу. Жених, который за сорок дней не прибавил трёх фунтов, позорит невесту на весь город: значит, либо она дурно кормит, либо он дурно ест. Из пекарни выкатили мучные весы, на которых Бруна принимает мешки от мельника, с чугунной платформой и медным коромыслом. Поставили у колодца. Капитан Гуннар, огромный и смущённый, проверил гири.

Главный казначей Короны посмотрел на весы. Потом на меня. Я пожала плечами: сами согласились.

Он снял сюртук, сложил его подкладкой наружу и отдал Бартоломею. Вынул из жилета часы и отдал тоже. Подумал и отдал кошелёк. «Для точности», сказал он. И встал на платформу.

Бруна двигала гирю долго. Потом сняла ещё одну.

— Сто сорок один, — сказала она. Над площадью стало тихо. — Сто сорок один фунт. При таком росте. Мать-Земля, да в нём одни пуговицы! Рута, ты кого взяла? Это не жених, это жердь!

— Какого дали, — сказала я.

Тут началось. Торвальд поставил марку на то, что жених не прибавит и фунта, потому что порода не та. Вдова Мартенс поставила два гроша на пять фунтов, потому что у Руты пироги. Мэтр Гроссе сказал, что прибавлять вредно, и поставил на три. Мальчишки с забора ставили пуговицы. Марта Пим записывала на оборотной стороне какого-то прошения.

А герцог стоял на весах в жилете и ждал, когда ему разрешат сойти. И тогда через площадь, расталкивая ноги, пришёл Казначей. Он обошёл весы кругом. Примерился. И, помогая себе крыльями, влез на платформу и сел на своё место, на левый башмак.

Коромысло качнулось.

— Сто пятьдесят три, — сказала Бруна. — С гусём.

— Гуся прошу вычесть, — сказал герцог.

Я не засмеялась. Я закусила губу и стала глядеть на ратушные часы. Я на него работаю, он Штальберг, и между нами ничего смешного быть не может.

Вечером, когда всё улеглось, я мыла его тарелку и его ложку. Отдельно, в своей воде. Тётя Клара вытирала кружки. Она долго молчала, я уже думала, так и ляжем.

— Одиннадцать фунтов, — сказала она вдруг. — Он был тощий, как твой. Я его тоже на сорок дней брала. Думала, покормлю и отдам.

И ушла, а я осталась стоять с ложкой в руке.

Глава 6.

В которой герцог колет дрова

Дело на второй день выбирала я.

Так положено: невеста говорит, чего ей по хозяйству не хватает, а жених делает. Бруна пришла ко мне с утра с книгой и карандашом и спросила, чего мне не хватает. Я посмотрела во двор. Во дворе у нас с Урожайника лежит берёзовый воз, сваленный кучей, и старый Йорген каждую неделю обещает его переколоть, а младший колет по три полена и убегает.

— Дров, — сказала я.

Вы скажете, что это было нехорошо. Что человеку, который тяжелее пера ничего в руках не держал, можно было для начала поручить перебрать горох. Я вам отвечу, что я об этом думала. И что горох я ему тоже припасла, на потом. Но это был второй день, и я ещё помнила, как он сказал «суждением не располагаю» над моей кашей.

К десяти часам во дворе было не протолкнуться. Бруна сидела на перевёрнутой бочке с книгой на коленях, потому что дело надо записать при свидетеле. Свидетелей набралось человек тридцать. Торвальд пришёл с подмастерьем. Вдова Мартенс принесла вязанье. На заборе сидели мальчишки, на крыше сарая сидел Филя Фенн, которому девять и который подглядывает за всем городом по семейному обычаю. У калитки стоял Тим Полынов, потому что с нынешнего утра кто-нибудь с заставы всегда стоит там, где герцог. Он подпирал столб и глядел на свои сапоги.

Герцог вышел из дверей в четверть одиннадцатого.

Он был без сюртука. В жилете, в белой рубашке, рукава застёгнуты на запястьях, шейный платок на месте. За ним шёл Бартоломей и нёс на вытянутых руках полотенце, как на свадьбе несут каравай. За Бартоломеем шёл гусь.

Старый Йорген подал топор. Наш колун, тяжёлый, с длинным топорищем, отполированным ладонями трёх поколений. Герцог принял его двумя руками. Подержал. Перехватил ближе к обуху, потом дальше.

— Каков его вес? — спросил он.

— Чего? — сказал старый Йорген.

— Вес топора.

— Да кто ж его… Топор и топор, ваша светлость. Дед мой им колол.

— Фунтов семь, — сказал Торвальд от забора. Он кузнец, он знает. — С топорищем семь с половиной.

Герцог кивнул, как кивают, получив недостающую цифру. Он подошёл к колоде, на которой у нас колют, и осмотрел её. Обошёл кругом. Взял из кучи полено, поставил на колоду, и оно упало. Поставил другое, оно стояло. Он отступил на шаг, поглядел на полено, на топор, на небо, будто там была написана таблица, и я поняла, что он считает. Что именно тут можно считать, я не знаю и теперь. Замах, наверное. Высоту. Откуда падать.

— Ваша светлость, — сказал Йорген-младший, у которого доброе сердце, — вы ноги-то расставьте. А то по ноге.

— Благодарю.

Он расставил ноги. Поднял топор над головой, ровно, как флаг. И ударил.

Топор вошёл в полено на два пальца и застрял. Полено не раскололось. Оно сидело на лезвии, как яблоко на ноже, и когда герцог потянул топор вверх, поднялось вместе с ним.

Двор молчал. Это, я вам скажу, было великодушно со стороны двора. Только Филя на крыше хрюкнул в рукав.

Герцог держал топор с поленом на весу и рассматривал. Он не покраснел. Он, по-моему, вообще не понимал, что тут можно стыдиться: была задача, решение оказалось неверным, следует найти ошибку.

— Сила удара достаточна, — сказал он. — Следовательно, неверен угол. Или точка.

— Сучок, — сказал Тим от калитки.

Все оглянулись. Тим оторвался от столба, подошёл, не торопясь, снял полено с лезвия, перевернул другим концом и показал пальцем.

— Сучок тут. В него не бьют. Бьют где трещина. От края. — Он поставил полено, чуть повернул. — И не руками. Спиной. Топор сам.

Это была самая длинная речь, какую я от него слышала с прошлого Урожайника. Он вернулся к столбу.

— Благодарю, — сказал герцог. — «Топор сам». Понятно.

Он ударил во второй раз, и половинки разлетелись в стороны. Одна чуть не убила гуся. Гусь не обиделся.

Третье полено он расколол чисто. Четвёртое тоже. На пятом он перестал задирать топор над головой, на восьмом перестал смотреть на небо. Я стояла у кухонного окна, резала лук на обед и глядела поверх ножа. Он колол не так, как колют наши мужики, с хаканьем и с присказкой. Он колол молча и одинаково: поставил, повернул трещиной, ударил, отбросил, поставил. Как пишут столбец. Рубашка на спине у него потемнела, платок на шее сбился, а он не останавливался.

— Сколько надо-то? — спросил у Бруны кто-то из зрителей. — По обычаю?

— Сколько невеста скажет.

Все посмотрели на моё окно. Я резала лук.

— Сорок, — сказала я. — По полену на день.

Он расколол сорок. Я считала, и он считал, и вдова Мартенс считала на петлях. На сороковом он опустил топор, упёр его в колоду и постоял, дыша ртом. Потом сделал то, чего от него никто не просил: пошёл собирать.

Он собрал всё, что наколол, до последней щепки. И стал складывать поленницу у стены сарая. Я поленниц видела много. Эта была такая, что Торвальд слез с забора и подошёл ближе. Поленья лежали корой вверх, торцами в одну линию, крупные снизу, мелкие сверху, а по краям он выложил клетку, чтобы не раскатилось. Я не знаю, кто его этому учил. Думаю, никто. Думаю, он просто не умеет положить вещь неровно.

Бруна записала в книгу: «День второй. Дрова, сорок полен. Сложил сам. Гуся не зашиб».

Двор расходился неохотно. Торвальд, уходя, сказал подмастерью: «Видал? А ты мне клещи бросаешь где попало».

* * *

На обед был куриный бульон с домашней лапшой.

Бульон с утра варил младший, на этот раз спиной к окну, а я его процедила и сняла весь жир до блёстки. Лапшу я катала сама, пока он колол, и резала ножом, тонко, как мать учила: чтобы через неё газету читать.

Бруна пришла тоже. В первую неделю за столом должен сидеть свидетель, она сказала, что так в книге, и я не стала проверять. Она села напротив герцога, сложила руки под грудью и приготовилась.

Я поставила миску. Он подал мне ложку.

Я заметила это, когда он её протягивал. Он держал ложку не так, как утром: не за кончик черенка, двумя пальцами, а всей горстью, и горсть не разжималась. А когда я взяла ложку, черенок оказался влажный и липкий.

Я посмотрела на его ладонь. Он её тут же убрал под стол.

— Покажите руку.

— Это не относится к пище.

— Покажите, говорю.

Он подумал и положил руку на стол ладонью вверх, как кладут на стол спорный документ.

Вы когда-нибудь видели руки писаря после берёзового воза? На правой ладони у него было четыре пузыря, на левой три. Два лопнули, один, под большим пальцем, был сорван до мяса. Он колол этими руками, наверное, с двадцатого полена. И потом ещё складывал.

— Вы что же молчали? — сказала я.

— Работа не была окончена.

— Могли бы сказать «хватит»!

— Вы назначили сорок.

Бруна глядела то на меня, то на него, и глаза у неё делались всё круглее и мокрее, а рука сама тянулась к книге.

Я ничего ей не сказала. Я сходила на кухню, принесла миску тёплой воды, чистую тряпицу и горшочек с гусиным жиром. Не Казначеевым, не бойтесь, покупным. Села рядом с ним на лавку и взяла его руку.

Она была длинная, сухая и холодная, хотя он только что час махал топором. Пальцы в чернилах, которые не отмываются, на среднем мозоль от пера, твёрдая, как орех, старая. Больше на этой руке никогда ничего не росло. Я промыла, намазала и стала завязывать, а он сидел и смотрел на то, что я делаю, с таким вниманием, будто я составляла при нём опись.

— Это не входит в ваши обязанности, — сказал он.

— А ложку вы чем держать будете? Мне вас с рук кормить? У нас такого правила нет.

— Нет, — согласился он. — Такого правила нет.

Мне показалось, или у него дёрнулся угол рта? Показалось. Я затянула узел сильнее, чем надо.

Потом я попробовала бульон, его ложкой, отсчитала до пяти и подвинула ему миску. Он ел левой рукой, в которой пузырей было меньше. Ровно, как утром. Ложка, ложка, ложка, взгляд в стену.

— Ну, жених! — сказала Бруна. — Говори. Каково?

— Что именно, сударыня?

— Суп каков!

— Я уже объяснял сударыне Кмин, что не располагаю…

— Правило четвёртое! — Бруна хлопнула по столу. — За столом не врать и не молчать! Я в книгу пишу, что жених сказал. Что мне писать? «Не располагает»? Меня на площади засмеют!

Он положил ложку. Я увидела, что он принял это всерьёз. Ему предъявили правило, под которым он, считай, подписался, а таких вещей он не нарушал.

— Хорошо, — сказал он. — Суп горячий. Прозрачный. Жир снят тщательно. Лапша нарезана неравномерно: ширина от полутора до трёх линий.

— От полутора до трёх чего?!

Это сказала я. Я вам напомню: через мою лапшу можно читать газету.

— Линий. Это мера длины, десятая часть дюйма. Я не утверждаю, что это недостаток. Я указываю то, что наблюдаю.

— А соль? — спросила Бруна с надеждой. — Соль-то как, ваша светлость? Посолила она вам?

Он посмотрел в миску. Потом на меня.

— Сколько соли вы кладёте на котёл?

— Щепоть.

— Котёл какого объёма?

— Ведёрный.

Он поднял глаза к потолку. Губы у него шевельнулись.

— По раскладке армейского довольствия, которую я утверждаю ежегодно, на ведро похлёбки полагается четыре с половиной лота соли. Щепоть составляет приблизительно четверть лота. — Он опустил глаза. — Следовательно, недосолено. В восемнадцать раз.

Стало тихо. Потом Бруна открыла рот и захохотала.

Она смеялась так, что в зале перестали стучать кружки, а во дворе отозвался гусь. Она утирала глаза фартуком, оставляя на щеках муку, и повторяла: «В восемнадцать! Мы ей десять лет говорим «мало», а он посчитал! Мать-Земля, в восемнадцать раз!» К вечеру это знал весь город. Через неделю на рынке, если хотели сказать, что чего-то не хватает, говорили: «в восемнадцать раз».

А герцог тем временем взял со стола солонку. Заглянул в неё. Высыпал на левую, целую ладонь немного соли, пересчитал взглядом, отнял пальцем лишнее обратно и остальное всыпал в миску. Размешал. И стал есть дальше с тем же самым лицом.

— Что вы делаете? — спросила я.

— Привожу к норме. На одну миску приходится три щепоти недостачи.

— И как теперь? Лучше?

— Теперь соответствует раскладке.

Я ушла на кухню, чтобы ничего не сказать. На кухне я сказала это капусте.

С того дня он солил каждую миску. Три щепоти, отмеренных на ладони, ни больше ни меньше, перед первой ложкой. Утром в кашу, в обед в суп, вечером в жаркое. Я глядела на это и злилась, а надо было не злиться. Надо было думать. Потому что на это глядела не я одна.

* * *

На третий день он носил воду. Двенадцать вёдер от колодца до кухонной бочки, и перед этим четверть часа изучал коромысло, пока тётя Клара не показала ему, каким плечом под него вставать. На четвёртый я дала ему наконец то, что собиралась: посадила у кухонной двери на табурет, поставила перед ним корзину и нож.

— Картошка, — сказала я. — Умеете?

— Нет.

Он хотя бы не врал. Я показала. Он взял картофелину забинтованной рукой, осмотрел со всех сторон и начал. Кожура у него выходила лентой одной толщины, от макушки до низа, и ни одна лента не порвалась. Младший бросил мешать и стоял смотрел. На корзину ушёл час. Мы с младшим управляемся за четверть, но у нас после этого полведра очисток, а у него горсть.

Я взяла одну картофелину, сырую, только что из его рук, и лизнула срез.

Вы не думайте, я это не из чувств. Мне надо было знать. Этот человек теперь трогал то, что пойдёт в мой котёл, а в свой котёл я вслепую никого не пускаю.

Картошка. Наша, с Йоргенова огорода, прошлогодняя, уже сладит. Нож мой. А рука…

Сперва я решила, что руки там нет, как в его овсянке. Чисто. Ровно. Пусто, как в выметенной комнате. Я уже хотела бросить картофелину в воду. А потом, на самом донышке, где обычно стоит то, чего человек о себе не знает, я услышала одну-единственную вещь. Тихую. Такую, что я сначала приняла её за свою.

Он хотел есть.

Не сейчас, не к обеду. Давно. Так хочет есть ребёнок, которого услали из-за стола, и он стоит за дверью и слушает, как там стучат ложки, и уже сам не помнит, за что его услали.

Я бросила картофелину в ведро так, что вода плеснула на пол.

— Что-то не так? — спросил он.

— Глазок оставили, — сказала я. — Вон там. Смотреть надо.

Глазка там не было.

* * *

А вечером на кухню приходил секретарь Вирт.

Он повадился с первого дня. Являлся, когда зал пустел, садился на мой мешок с луком и говорил: «Я не есть, я только понюхать», после чего съедал всё, что оставалось от ужина. Он ел так, что на него хотелось готовить. Он стонал над пирогом. Он выпросил у тёти Клары, как она солит рыжики, и записал в свою папку, между ведомостями. Младшему он растолковал, что на дочку молочника нельзя глядеть из окна, а надо выйти и молча взять у неё бидон, и младший на другое утро вышел и взял, и дочка молочника на него впервые посмотрела. Старому Йоргену он рассказывал про столичные трактиры, где за кружку пива берут марку, и старый Йорген ахал и подливал.

Кухня его полюбила за три дня. Кухня, это не только я. Это тётя Клара, которая улыбнулась ему в третий раз, сверх годовой нормы. Это младший. Это кот. Только Казначей при виде его вытягивал шею, но Казначей так встречает всех, кроме одного человека.

— Вы на него не сердитесь, — сказал мне Вирт в тот вечер. Он доедал рыбный пирог и глядел, как я чищу плиту. — На Северина. За лапшу. Он не со зла. Он, знаете, в девять лет плакал над задачником.

— Задача не выходила?

— Выходила. У него не сошлось с ответом в конце книги, и он просидел до ночи, а потом доказал учителю, что в ответе опечатка. И плакал, потому что как же так: напечатано, а неправда. — Вирт засмеялся, не зло, а так, как смеются над своим. — Мой отец его учил считать. Отец был у старого герцога управляющим, а мы с Севериным молочные братья, меня мать кормила с ним вместе. Отец говорил: этот мальчик либо станет казначеем, либо его удавят. Вышло, видите, и то, и другое разом.

— А вас не учил?

— Меня учил. Но я из тех, кто списывает ответ в конце книги. — Он подобрал крошку с тарелки. — Рута, а вы откуда родом? Не здешняя ведь.

Я тёрла плиту. Плита у меня блестела и так.

— Из Нижних Ключей.

— А стряпаете по-столичному. Утка с тмином и можжевельником, так делали у нас в доме, давно. Я с детства не ел.

— У нас тут все с тмином, — сказала я. — Тмин по канавам растёт.

— Правда? Надо же. — Он зевнул, потянулся и встал. — Счастливый город. Доброй ночи, Рута. Вы ему завтра дайте что-нибудь перебирать. Он это любит. Только не говорите, что я сказал.

Он ушёл. Я дочистила плиту и легла.

Над потолком ходили: шесть шагов к окну, шесть обратно. Я лежала и думала о том, что секретарь сказал мне «божественно» шесть раз за три дня, а мне ни тепло ни холодно. А тот, наверху, сказал «от полутора до трёх линий», и я до сих пор хочу надеть ему миску на голову.

Это, наверное, потому, что от Вирта мне ничего не надо. А от Штальберга надо, чтобы он хоть раз в жизни поперхнулся.

А на поленницу полгорода ходило смотреть до конца недели. Торвальд приложил к ней уровень и сказал, что ни на волос. Старый Йорген постоял, почесал в затылке и объявил, что топить такими дровами грех. И велел младшему брать из старой кучи.

Глава 7.
В которой Пим прячет книги

На пятый день я дала ему перебирать горох, и это была ошибка.

Не потому, что он не справился. Он справился так, что мне пришлось искать ещё две миски. Он разобрал горох не на хороший и плохой, как разбирают люди, а на крупный, средний, мелкий и «подлежащий списанию», и про мелкий сказал, что он разварится на четыре минуты раньше крупного и что класть их в один котёл нерасчётливо. Бруна записала: «День

пятый. Горох. Разобрал на четыре сорта, невеста ругалась». А ошибка была в том, что после гороха он пошёл в ратушу и взялся за бургомистра с тем же самым лицом.

Ревизия шла пятый день.

Я про неё знала только то, что слышала через стену, когда носила в ратушу обед. Носить приходилось: жених ест только невестино, а сидел он там с восьми утра до темноты. Я ставила в корзину судок с горячим, хлеб, кувшин, его тарелку и его ложку под полотенцем и шла через площадь. Сзади шёл Тим. Он не помогал нести. Он сказал, что у охраны руки должны быть свободны, и это было пятое слово за день, так что я не спорила.

В ратуше, в большой палате, где на стене висит портрет короля, засиженный мухами, за длинным столом сидел герцог. Перед ним лежала одна-единственная книга. Напротив сидел Пим, и на Пима было жалко смотреть.

— Я просил книги за двенадцать лет, — говорил герцог. — Передо мной книга за прошлый год.

— Остальные в переплёте, ваша светлость.

— Все одиннадцать?

— Переплётчик у нас один. Он запил.

— Вчера вы говорили, что книги у писаря.

— Писарь… отдал переплётчику.

— А позавчера, что в архиве мыши.

— Мыши, — сказал Пим и вытер лоб цепью. — Мыши, ваша светлость, это у нас бедствие.

Герцог не рассердился. Я уже начинала понимать, что он не сердится никогда: он просто кладёт перо и ждёт, и ждать он может дольше, чем любой человек может врать.

— Господин бургомистр, — сказал он. — Я располагаю сорока днями. Точнее, тридцатью пятью. Ревизию Нижних Ключей я могу отложить, там нет ничего любопытного, кроме прогонных. Я буду приходить сюда каждое утро в восемь. Когда переплётчик протрезвеет, а мыши вернут взятое, вы положите книги на этот стол.

Я поставила перед ним судок. Он подал мне ложку. Пим глядел, как я пробую, как отсчитываю, как отдаю, и на лице у него была такая тоска, будто это его самого сейчас съедят.

Обратно через площадь я шла мимо Бруниной пекарни. У Бруны под окном стоит мучной ларь, большой, с крышкой, туда входит шесть мешков. Крышка была приоткрыта. Из-под крышки торчал угол чего-то кожаного, с медной застёжкой.

Я остановилась. Тим тоже остановился и посмотрел туда же.

— Не моё дело, — сказал Тим.

— И не моё, — сказала я.

Мы пошли дальше. Но я подумала: что же ты такое натворил, Олдрик Пим, что прячешь городские книги в муке? Ты же за всю жизнь чужого гроша не взял. Ты, когда находишь на мостовой пуговицу, вешаешь объявление.

* * *

На шестой день Пим позвал герцога ужинать.

Так делают. Когда в город приезжает важное лицо, бургомистр даёт у себя дома ужин, и на ужин зовут всех, кто в городе что-нибудь значит: капитана стражи, лекаря, директрису школы, жрицу, кузнеца. Марта Пим готовилась три дня. Она зарезала гуся, не нашего, другого, она сделала свой студень, которым гордится, и подливу, рецепт которой, по её словам, унесёт в могилу.

Приглашение принёс сам Пим, в цепи. Герцог прочёл и сказал:

— Благодарю. Я приду. Но есть я не буду.

Пим побелел.

— Ваша светлость… Марта… она три дня…

— Я связан правилом. Первым. Мне разъяснили, что нарушение влечёт позор на весь город, а я не желал бы начинать ревизию с позора.

Пим повернулся к Бруне. Бруна была тут же, она теперь всегда была тут же. Он глядел на неё с последней надеждой, как глядят на жрицу: может, отпустит?

— И думать не смей, — сказала Бруна. — Ни куска чужого. Хоть ты бургомистр, хоть король.

— Так что же, он будет сидеть за моим столом перед пустой тарелкой? Главный казначей? Что обо мне скажут в Сольмаре?!

— Зачем перед пустой, — сказала Бруна. — Невеста сготовит.

— Где?

— У тебя и сготовит. У Марты на кухне.

Вот так я оказалась на кухне у Марты Пим, и я вам скажу, что лучше бы мне дали ещё крупинку вдовьего сахара.

Марта Пим женщина достойная. Ей шестьдесят с лишним, она сухая, быстрая, носит чепец с лентами и тридцать лет считает себя лучшей хозяйкой в городе. Бруна печёт, это ремесло, это не в счёт. А по части домашнего стола выше Марты Пим не было никого, пока восемь лет назад старый Йорген не поставил к плите меня. С тех пор приезжие обедают в «Гусе» и хвалят. Марта Пим мне этого не простила. Она со мной здоровается, но так, как здороваются через забор.

И вот я стою у неё на кухне, со своей корзиной, со своей кастрюлей, и прошу пустить к плите.

— Вон та конфорка, — сказала Марта Пим. — Левая дальняя. Она слабая. Мои сковороды не брать. Мою соль не брать. Впрочем, тебе соль и не нужна.

— Спасибо, сударыня Пим.

— И не гляди в мои горшки.

Я не глядела. Я делала своё. На шестой день желудок его светлости уже можно было знакомить с мясом, только вежливо. Я принесла курицу, срезала с неё белое, дважды порубила ножом в две руки, вбила яйцо, мякиш, вымоченный в сливках, и поставила на пар биточки. К ним ячневую кашу, рассыпчатую, и соус из сметаны с укропом. Просто. Марта Пим поглядывала через плечо и поджимала губы: к такому ужину, с гусем и студнем, кухарка из трактира принесла больничную еду.

Она отвернулась за полотенцем. Её подлива стояла на краю плиты, в медном сотейнике, тёмная, густая, с блеском. Рецепт, который унесут в могилу.

Мне не надо было. Но вы уже знаете, что я за человек.

Я макнула мизинец.

Гусиный сок, уваренный вдвое. Лук, пережаренный до черноты, от него и цвет. Красное вино, не лучшее. Чернослив, протёртый через сито. Гвоздика, три бутона. Корица, и корицы много, так что рецепт я бы оставила в могиле. А поверх корицы…

Зависть я ждала. Она там была, старая, привычная, вроде горчинки в пиве, я её и за вкус не считаю. Но над ней стояло другое, свежее, железное, от чего сводит зубы. Так отдаёт ложка, если её долго держать во рту.

Страх.

Эту подливу мешала женщина, у которой тряслись руки. Она мешала и думала не про гуся и не про меня. Она думала, что её мужа увезут.

Я вытерла мизинец о фартук и посмотрела на спину Марты Пим, на её ленты, на сухие локти. Восемь лет она со мной здоровается через забор. А я сейчас знала про неё то, чего не знала ни одна её подруга.

— Сударыня Пим, — сказала я. — Гусь у вас пересохнет. Его бы полить.

— Без тебя знаю, — сказала она. Но полила.

* * *

За стол сели в восемь.

Меня посадили рядом с герцогом. Я упиралась: я кухарка, я стою у стены и подаю. Но Бруна сказала, что невеста на пробе сидит по правую руку жениха, и это правило, и нечего. Так что я села за стол бургомистра, между главным казначеем Короны и мэтром Гроссе, в своей кухонной косынке, в чистом фартуке поверх серого платья, и передо мной лежала салфетка с вышитой буквой «П».

Напротив сидел граф Холт, подальше от букета, в котором Марта для красоты поставила веточку полыни. Рядом с ним графиня. Я Агату Холт раньше видела только издали: она директриса школы за рекой, у неё волосы цвета мёда, веснушки и руки в земле, которые не отмоешь ни к какому ужину. Она посмотрела на меня через стол, потом на герцога, потом опять на меня, и глаза у неё сделались смеющиеся. Она, по-моему, одна в этой комнате считала, что всё это ужасно весело.

Дальше сидели капитан Гуннар с Бруной, жрица Олеа, которая дремала, Торвальд с женой, секретарь Вирт, который уже разглядывал студень. У двери стояла Ингрид Вальд с заставы, рыжая, высокая, и грызла яблоко: сегодня была её очередь стеречь.

Внесли гуся. Гусь был хорош, врать не буду, с корочкой. Внесли студень. Внесли подливу. А перед его светлостью я сама, своими руками, поставила тарелку с тремя белыми биточками и горкой каши.

Марта Пим глядела на эту тарелку, как на плевок.

Я взяла его ложку. За столом перестали жевать. Я зачерпнула кашу, отломила краем ложки от биточка, обмакнула в соус. Раз, два, три, четыре, пять. Отдала.

— С одной ложки, — сказала Олеа, проснувшись. — Ах, как хорошо. Я сорок лет не видала. Благослови Мать-Земля.

— Олеа, милая, это пока только проба, — сказала графиня Холт.

— Что?

— Проба!

— Конечно, свадьба, — сказала Олеа. — Я и говорю.

Герцог насыпал на ладонь соль, отмерил три щепоти, всыпал в кашу и стал есть. Городская знать смотрела. Потом все разом заговорили и принялись за гуся.

Ужин шёл, как идут такие ужины. Капитан Гуннар рассказывал про осаду Каменца, и Бартоломей, который стоял за стулом герцога, поправлял его в датах. Вирт съел две порции студня и сказал Марте Пим, что в столице такого не подают, и Марта Пим впервые за вечер порозовела. Мэтр Гроссе объяснял мне, что укроп вреден. А Пим сидел во главе стола и не ел. Перед ним остывал гусь. Он крутил в пальцах ножку рюмки и глядел на герцога, как кролик.

Герцог доел. Положил ложку параллельно краю стола. Вытер губы.

— Господин бургомистр, — сказал он. — Благодарю вас за гостеприимство. Раз уж здесь собрался город, я хотел бы закрыть один вопрос, чтобы не возвращаться к нему в палате.

Рюмка у Пима в руке звякнула о тарелку.

— Мыши вернули книги сегодня в четвёртом часу, — продолжал герцог. — Я их прочёл.

— Все одиннадцать? — спросила Бруна. — За четыре часа?

— Они ведены очень чисто. Это облегчает чтение. Господин бургомистр, в книге двенадцатилетней давности, на странице сорок шестой, записан приход: сорок одна марка от королевской казны, на починку моста через Иву после паводка. Мост на королевской дороге, чинить его обязана Корона. Запись сделана вашей рукой.

— Моей, — прошептал Пим.

— Казна этих денег не отпускала.

Никто не дышал. Марта Пим стояла в дверях с блюдом и держала его так, что костяшки побелели.

— Вы… вы не можете этого помнить, — сказал Пим. — Двенадцать лет…

— Я помню все отпуски по северному округу за время моей службы. Это был мой второй год в казначействе, я сам вёл ту ведомость. Прошение от города Тихого Брода поступило, было рассмотрено и положено под сукно моим тогдашним начальником, который полагал, что север подождёт. Денег не выслали. А у вас записано: получено. Мост между тем починен, я по нему въезжал. — Он сложил руки на столе. — Откуда взялись сорок одна марка, господин бургомистр?

Пим встал. Он был маленький, круглый, цепь висела на нём криво. Он посмотрел на жену, на Бруну, на графа. И сказал то, чего в Тихом Броде не знал никто.

Он сказал, что мост снесло в марте, что возчики стояли на том берегу неделями, что мука дорожала. Что он написал в Сольмар раз, написал другой, а ответа не было. Что он тогда занял у ростовщика в Каменце сорок одну марку под свой дом и починил мост сам, а в книгу вписал, будто деньги пришли от казны. Потому что иначе книга не сходилась. А он не мог, чтобы не сходилась.

— И я всё ждал, что пришлют, — сказал он. — Год ждал. Потом написать ещё раз побоялся: а ну как спросят, на что чинили. Потом уже поздно стало. Я ростовщику девять лет платил. Из жалованья. Марта знает. Больше никто.

— То есть вы внесли в городскую книгу заведомо ложную запись, — сказал герцог.

— Внёс.

— И двенадцать лет её скрывали.

— Скрывал. — Пим снял с шеи цепь и положил на скатерть, рядом с гусем. — Вот. Я готов. Только дом не отбирайте, Марте жить негде будет.

Марта Пим в дверях издала звук, какого я от неё никогда не слышала, тонкий, как из чайника. Бруна привстала. Граф Холт наклонил голову и слушал. Я глядела на длинные забинтованные руки, сложенные на скатерти, и думала: ну вот. Вот он какой. Сейчас он это сделает, спокойно, по раскладке, и я наконец буду знать точно.

— Наденьте цепь, господин бургомистр, — сказал герцог. — Вы мешаете мне считать.

Он достал из жилета карандаш, а из-за манжеты узкий листок, и стал писать прямо на скатерти Марты Пим, подложив под листок салфетку.

— Сорок одна марка, не отпущенная казной на обязательную для неё работу. Законный рост на казённые недоимки, по четыре доли со ста в год, за двенадцать лет. Без сложных процентов, казна их не начисляет даже себе. Итого шестьдесят марок и шестьдесят восемь грошей. — Он подчеркнул. — Корона должна городу Тихий Брод шестьдесят марок шестьдесят восемь грошей. Город, в свою очередь, должен эту сумму лицу, которое внесло её за Корону из личных средств. То есть вам. Я выпишу ассигновку завтра.

Пим стоял. Рот у него был открыт.

— Что же касается записи, — сказал герцог, — она ложна, и я не могу этого не отметить. Вы записали «получено от казны» то, что было получено от ростовщика. Это искажение источника при верной сумме. По уставу о городском счетоводстве за это полагается штраф.

— Какой? — выдохнула Марта.

— Один грош. В пользу города.

Сначала было тихо. Потом Торвальд ударил кулаком по столу так, что подпрыгнул студень, и заревел: «Ай да жердь!» Бруна завизжала. Капитан Гуннар встал и зачем-то отдал честь. Жрица Олеа проснулась и благословила всех. Вирт хохотал и вытирал глаза, приговаривая: «Один грош! Северин, ты чудовище, ты хоть сам-то понял, что сделал?» А Пим всё стоял, и цепь лежала на скатерти, и по круглым его щекам текло, и он искал по карманам грош и не мог найти.

Грош дала графиня Холт. Достала из рукава и пустила через стол, как пускают камешки по воде.

Марта Пим поставила блюдо. Подошла к столу. Посмотрела на герцога, на его тарелку, пустую и чистую, на три крупинки соли, оставшиеся на скатерти. Потом на меня.

— Биточки, — сказала она. — На пару. С мякишем в сливках?

— В сливках, сударыня Пим.

— Запишешь мне.

Вот это, а не грош, было самое большое, что случилось в тот вечер. Но этого никто, кроме нас двоих, не понял.

* * *

Домой шли через площадь втроём: он, я и Ингрид сзади, с яблоком. Было светло от луны. Часы на ратуше показывали без семи одиннадцать, значит, было одиннадцать ровно.

Он шёл, заложив забинтованные руки за спину. Я несла пустую корзину.

— Вы знали, — сказала я. Я не собиралась с ним заговаривать, оно само. — Вы с первого дня знали, что казна ему не платила. Вы же помните все отпуски. Зачем вы его шесть дней мучили?

— Я знал, что казна не платила. Я не знал, откуда деньги. Их можно было взять из сиротской кассы. Из жалованья стражи. Собрать с возчиков втрое и разницу оставить себе. — Он помолчал. — Обычно бывает так.

— А тут вышло не так.

— Да. Это случается реже, чем мне хотелось бы. Он двенадцать лет платил чужой долг и боялся, что его за это накажут. — Он глядел на мостовую перед собой. — Я понимаю, как это бывает.

Я не спросила, что он понимает. Откуда ему, Штальбергу, знать про чужие долги.

Я думала о другом, и думать это было неприятно, как трогать языком больной зуб. Он считает честно. Вот что я сегодня узнала, и мне от этого не полегчало. Я шестнадцать лет держала в голове молодого господина, которому всё равно, кого увезут, лишь бы скорее. А этот в чужой книге, через двенадцать лет, не дал пропасть одному грошу и не дал пропасть одному бургомистру.

Значит, и тогда он сказал то, что видел.

Он видел, как мать несла чашу. Это правда, она несла. Я сама помню, как она сняла фартук и взяла полотенце.

Только она ничего туда не клала. Я знаю. Я это пробовала.

— Сударыня Кмин, — сказал он у самого крыльца. — Позвольте вопрос. Вы не обязаны отвечать, он не относится к службе.

— Ну?

— Почему щепоть?

— Что?

— Соль. Вы готовите точно. Я наблюдаю шесть дней: вы не ошибаетесь ни во времени, ни в количестве. Вы знаете, сколько соли требует котёл. И кладёте в восемнадцать раз меньше. У такой привычки должна быть причина.

Казначей вышел из-под крыльца и встал между нами, поглядывая на него снизу.

— Есть, — сказала я.

Он подождал. Он умеет ждать, я вам говорила. Но я не Пим.

— Доброй ночи, ваша светлость, — сказала я и ушла на кухню.

Наутро Марта Пим прислала в трактир гусиную ногу в подливе, под крышкой. С запиской: «Жениху нельзя, так хоть невесте». Я попробовала.

Страха в подливе больше не было. Корицы, правда, меньше не стало.

Глава 8.
В которой нос спорит с языком

На седьмой день за мной прислали из школы.

Записку принёс мальчик в зелёном фартуке, какие носят ученики за рекой. В записке было четыре строки, почерк быстрый, с наклоном: «Рута, приходите сегодня после обеда и приведите своего жениха, ему всё равно надо проверять наш казённый подряд. Я хочу поглядеть на ваш яд. И на вас. Мотя тоже хочет. Агата Холт».

— Кто такая Мотя? — спросил герцог.

Он в это время точил мои ножи. Это было дело седьмого дня. Он точил их на бруске, под одним и тем же углом, который сперва вымерял, приложив к лезвию сложенный листок. Ножей у меня одиннадцать. К полудню ими можно было резать паутину, и я потом неделю ходила с порезанными пальцами, потому что рука привыкла к тупым.

— Мандрагора, — сказала я.

— Растение?

— Вы ей этого только не скажите.

Школа травников «Под полынью» стоит за Ивой, на пригорке, и идти туда через мост, тот самый, починенный на Пимовы марки. Мы шли вчетвером: он, я, Тим сзади и гусь, которого не удалось отогнать. На мосту герцог остановился, поглядел вниз на сваи, посчитал их и сказал: «Сорок одна марка. Недорого». Потом мы поднялись на пригорок, и я увидела, как он замедлил шаг.

Вокруг школы растёт полынь. Не грядкой, не кустами, а стеной, выше моего роста, серебряная, и ветер по ней ходит, как по воде. Запах стоит такой, что у приезжих слезятся глаза. За полынью видна крыша старого дома, а за домом блестит стекло: оранжерея, про которую у нас говорят шёпотом, потому что там растёт то, из чего варят противоядие для всей Короны.

— Теперь я понимаю, почему граф Холт бывает дома только по ночам, — сказал герцог.

— Он тут четырнадцать лет чихает, — сказала я. — Говорят, графиня предлагала всё выкосить, а он запретил.

— Почему?

— Не знаю. Спросите у него.

Он подумал.

— Не стану. Я догадываюсь, что это не относится к ведомству.

Графиня встретила нас на крыльце. Она была в рабочем платье, с закатанными рукавами, на локте у неё сидела божья коровка, и руки она вытерла о передник, прежде чем подать герцогу. Он поклонился. Она сказала: «Ваша светлость, подряд у меня в кабинете, все двенадцать книг, и ни одна не у переплётчика. Тим вас проводит. А Руту я у вас забираю на час, вы без неё не помрёте, вы только что пообедали».

И увела меня за дом, а гусь, поколебавшись, пошёл за герцогом.

* * *

Про Мотю в Тихом Броде знают все, но видят её редко. Она старая. Ей, говорят, шестой десяток, а для мандрагоры это как для человека девяносто. Раньше она визжала так, что люди падали в обморок целой улицей, и сплетничала так, что Бруна ходила к ней советоваться. Теперь она говорит мало. За неё говорит попугай.

Она стояла на солнце, на перилах веранды, в большом глиняном горшке, обвязанном тёплым платком. Серые листья, толстые, в серебряном пуху. Между листьями, если приглядеться, два чёрных глаза, маленьких и таких злых, что я невольно поправила косынку. На краю горшка сидел попугай, старый, лысый с затылка, и чистил перо.

— Это Рута, — сказала графиня. — Которая пробует.

Листья шевельнулись. Глаза оглядели меня от башмаков до макушки, не торопясь. Потом раздался голос, скрипучий и тихий, как дверь в погребе. Говорила она по слогам, отдыхая после каждого.

— Ма-лень-ка-я.

— Какая есть, — сказала я.

— А тот?

— Его светлость в кабинете, Мотя. Ты его видела с веранды.

— Ви-де-ла. — Она помолчала, собираясь с силами. — То-щий.

— Тощий! — заорал попугай, которого, как я потом узнала, зовут Кеша. — Тощий! Корми! Корми, дура!

— Кеша, — сказала графиня.

— Корми, — повторил Кеша тише и посмотрел на горшок, так ли сказал. Лист одобрительно качнулся.

Графиня усадила меня на ступеньку, сама села рядом и попросила рассказать про вкус. Всё, с самого начала, по секундам. Я рассказала. Она слушала, щурясь на солнце, и вертела в пальцах травинку. Потом принесла из дома склянку, в которой лежала щепоть того самого сахара, из серебряной сахарницы, и стала делать с ней вещи, которых я не поняла. Она поднесла склянку к одному растению в горшке, к другому, к третьему. Высыпала три крупинки на лист какого-то серебристого цветка. Постояла над ним, держа руку ладонью вниз, с закрытыми глазами.

— Ничего, — сказала она наконец. — Они его не слышат. Вообще. Как будто я им показываю камень.

— Он и есть камень, — сказала я. — То есть… мне так говорили. Его где-то под землёй берут.

Она открыла глаза и посмотрела на меня. У неё зелёные глаза, насмешливые, но смотрит она ими внимательно.

— Кто говорил?

— Не помню. Давно.

Она не стала переспрашивать. Про неё рассказывают, что она сама в молодости врала на каждом шагу, по мелочи, и графа этим чуть не довела, потому что у него от каждого её слова звенело. Такие люди чужое враньё узнают сразу, как пьяница узнаёт пьяницу, и не обижаются.

— В бабушкином дневнике есть строчка, — сказала она. — Я вчера нашла. «Горькая соль из копей травой не берётся, не трать зелье». И всё. Бабушка была женщина краткая. Рута, я вам честно скажу: я травница. Я могу сварить противоядие от всего, что растёт. А что лежит в земле, не по моей части. Если его светлости подсыплют ещё раз и вы не успеете, я не знаю, чем его отпаивать. Это надо спрашивать не у меня, а у тех, кто эту дрянь из земли достаёт.

— У шахтёров?

— У шахтёров. Они-то наверняка знают. Люди, которые сорок лет дышат отравой, всегда знают, чем её заедать. Только кто ж их спросит. — Она отряхнула руки. — Я напишу в Зальцгруд, смотрителю копей. Ответ придёт через месяц, если придёт.

При слове «Зальцгруд» я, наверное, что-то сделала лицом. Я старалась не сделать.

— По-це-ло-вал? — спросила вдруг Мотя.

— Что?

— Она спрашивает, поцеловал ли он вас, — перевела графиня. — Не обращайте внимания. Она сорок лет слушает любовные романы. Ей кажется, что в жизни всё так же, только медленнее.

— Никто меня не целовал! — сказала я. — Это проба! Это для отвода глаз! Я ему пробую суп за деньги, а он мне точит ножи, потому что Бруна велела!

— Ду-ра-ки, — сказала Мотя.

— Болваны! — подхватил Кеша с восторгом. Это слово он, видно, любил больше прочих. — Бол-ва-ны!

Графиня Холт засмеялась и не стала его унимать.

— Вы на неё не сердитесь, — сказала она. — Она и про нас так говорила. Я, Рута, своего мужа когда-то наняла. За пять марок в месяц, с договором и с отдельной спальней. Мне нужен был муж на бумаге, чтобы меня не увезли обратно к отцу, а первый попавшийся оказался вот этот, со шрамом. Он, правда, тоже был не тот, за кого себя выдавал. Мы друг другу врали полгода. — Она сорвала метёлку полыни и растёрла в пальцах. — Теперь у нас двое детей и полынь у него в печёнках. Так что я в таких договорах кое-что понимаю. И я вам скажу одно, а вы меня не слушайте, я вам никто.

— Что?

— Когда двое подписывают бумагу «на сорок дней и без обид», то хотя бы один из них что-нибудь прячет. А чаще оба. — Она поглядела на меня сбоку. — Вы не прячете?

— Нет.

— Ну и хорошо, — сказала Агата Холт весело. — Значит, я ошиблась.

Мотя в горшке издала звук, похожий на смех, если бы смеялась дверь.

* * *

А потом пришла Нелли, и с ней полшколы.

У Полыновых сегодня за детьми глядела бабушка, и младшая нюхачка Северного отделения явилась на веранду с таким лицом, будто у неё ко мне дело государственной важности. За ней шли ученики в зелёных фартуках, человек двенадцать, и графские дети: девочка лет двенадцати, длинноногая, с материными глазами, и мальчик помладше, серьёзный, со шрамом на коленке.

— Я не спала ночь, — сказала Нелли. — Из-за твоей ложки. Я хочу знать, что ты ещё можешь. Давай так: десять чашек. Что в чашке, не видно. Я носом, ты языком. Кто больше.

— Нелли, у меня ужин на тридцать человек.

— Боишься?

Вы видели когда-нибудь, чтобы кухарка отказалась, когда ей сказали «боишься»?

Чашки готовили ученики, в школьной кухне, а мы сидели на веранде спиной к двери. Нелли завязала себе глаза платком, по своему нюхаческому обычаю, и я тоже завязала, чтобы честно. Судила графиня. Мотя глядела из горшка, и Кеша перебегал по краю туда и обратно, как зритель на петушином бою.

Первые пять чашек были закрыты крышками. Нелли брала чашку, подносила к лицу, даже не снимая крышки, и говорила: «Ромашка, прошлогодняя, сушили на чердаке, там мыши». «Зверобой, мята, и кто-то уронил туда волос, рыжий». «Мать-и-мачеха. Нет, подождите. Мать-и-мачеха с девясилом, один к трём, это от кашля, это варил Эмиль, он всегда перекладывает девясила». Ученики ахали. Мне давали то же самое на ложке, и я называла то же самое, только мне для этого надо было взять в рот, а ей нет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.